

ИЛ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Леонардо Шаша

Палермские убийцы



41

Leonardo Sciascia

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Леонардо Шаша

Палермские убийцы

Повести

Перевод с итальянского

Составление и предисловие

Г. Смирнова

Москва
«Известия»
1982

И (ИТАЛ)
Ш (31)

Главный редактор Н. Т. Федоренко

На обложке воспроизведен портрет князя Ромуальдо Тригоны Сант' Элиа.

Шаша Л.

ШЗ1 Палермские убийцы / Пер. с итал. Сост. и предисл. Г. Смирнова — М.: Известия, 1982, 112 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

В книгу включены два произведения итальянского писателя: исторический политический детектив, основанный на документах, — «Палермские убийцы» и жанровая зарисовка жизни современной Сицилии «Винного цвета море».

Ш $\frac{4703000000-041}{074(02)-82}$ -714-82

ББК 84.4Ит
И(Итал)

© Предисловие, составление издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1982.

Две повести Леонардо Шаши

В мае 1981 года пало очередное правительство Италии, возглавлявшееся христианскими демократами. Его падение не привлекло бы особого внимания (за послевоенный период в Италии сменилось около сорока правительств, державшихся у власти в среднем по шесть-семь месяцев каждое), если бы не одно чрезвычайное обстоятельство. Уход правительства в отставку был связан с разоблачением незаконной деятельности масонской ложи «Пропаганда-2» (П-2), ставившей своей целью создание влиятельной подпольной группы, готовой предпринять самые решительные действия в случае победы в Италии демократических сил. Среди членов ложи оказались представители правящих партий: три министра, высшие чины вооруженных сил и службы безопасности, сенаторы и депутаты буржуазных партий.

Началось расследование, нашлись серьезные улики, кое-кто из замешанных в этом деле высокопоставленных лиц поспешил подать в отставку, другие на время отошли от политической жизни. Не прошло, однако, и полугода, как большинство из скомпрометированных деятелей стало вновь появляться на телеэкранах, выступать с парламентской трибуны, словом, все пошло, как в предлагаемой вниманию читателей повести Леонардо Шаши «Палермские убийцы»: «...виновен князь, виновны и «все остальные», но все идет как шло всегда, иначе и быть не может».

Книга Л. Шаши «Палермские убийцы» посвящена, казалось бы, далеким от наших дней событиям. Ограничено локальными рамками Сицилии и место ее действия. И все же эта небольшая хроника событий, развернувшихся в 1862 году в Палермо (речь идет о серии немотивированных убийств, свершившихся в один день и в один час на улицах города), не теряет актуальности и интереса в наши дни. Причин тому много. Продолжая линию итальянской историко-философской повести, наиболее типичным примером которой является, по-

жалуй, «История позорного столба» А. Мандзони (о ней, кстати, автор «Палермских убийц» вспоминает в своей повести при характеристике организатора преступлений князя Ромуальдо Тригоны Сант'Элиа), Л. Шаша не только серьезно и глубоко исследует прошлое, но постоянно имеет в виду и современность. Этико-политические проблемы сегодняшней Италии неизменно остаются в основе его художественного проникновения в мир былого. Однако при всей политической тенденциозности и заостренности книга Л. Шаши — не однодневка, написанная на злобу дня.

Непосредственным поводом, побудившим автора обратиться к анализу этого, по сути дела, второстепенного эпизода из истории Палермо, послужила так называемая «стратегия напряженности», проводившаяся в жизнь правозэкстремистскими силами в Италии в 70-х годах в целях достижения сдвига вправо всей оси политической жизни страны. Аналогия палермских событий 1862 года с серией террористических актов, потрясших Италию в 70-х годах, кульминационным пунктом которых явилось убийство председателя христианско-демократической партии А. Моро, нарочито приближенный к современной политической терминологии язык повествования (в своей хронике XIX в. Л. Шаша прямо говорит и о «стратегии напряженности») — все это превращает повесть Л. Шаши в книгу-памфлет, в «литературу действия», по определению известного итальянского критика и литературоведа М. Раго.

И все же содержание книги «Палермские убийцы» не ограничивается обличением частного, пусть даже очень важного момента политической жизни Италии. Этому способствует четкая в тот период классовая позиция писателя (позднее политические зигзаги Леонардо Шаши приводили его то к «левакам», то к так называемым «новым философам», стоявшим на ошибочных, антимарксистских позициях).

Без колебаний и компромиссов обличает Леонардо Шаша в повести «Палермские убийцы» мир, построенный на власти денежного мешка, на попрании сильными мира сего всех основ правосудия. «Словом, — пишет он, — дела в этом мире шли так, как и всегда: Каstellи, Кали и Мазотто вступали в Капеллу

приговоренных к смерти, князь Сант'Элиа вступал в королевскую Капеллу «Палатина» как представитель Виктора-Эммануила II, короля Италии. «Именем Виктора-Эммануила II, божьей милостью и волею народа короля Италии» — смертный приговор уличному сторожу, продавцу хлеба и позолотчику; «специальное полномочие» представлять короля — князю».

Вот почему, когда в конце октября 1981 года, выступая в Анконе, президент Итальянской Республики А. Пертини заявил, что недопустим возврат к политической жизни всех тех, на кого легла тень преступной деятельности масонской ложи П-2 («Никто не должен быть оправдан, — сказал он, — из-за недостаточности доказательств или на основе подобных же формулировок»), это заставило многих вновь обратиться к проблематике, столь смело затронутой Л. Шашей в 1979 году, когда он писал о «внешнем блеске и чванности», которые скрывают действительную жизнь «этой несчастной страны», где «совершаются ужасающие преступления и давным-давно неизвестно, что такое правосудие».

Л. Шаша — ищущий писатель, ко многим произведениям которого («День совы», «Смерть инквизитора», «Каждому свое», «Контекст», «Исчезновение Майораны» и др.) по праву можно отнести эпиграф из его повести «Палермские убийцы» — «Так утвердилось зла первоначало» (Боярдо. «Влюбленный Роланд»). Действительно, раздумья писателя в этих произведениях обращены к таким крупным темам современности, как преступления мафии, которую Л. Шаша, по словам итальянского критика Г. Мариани, «неизменно отдает на суд справедливости и разума», бесчеловечность капиталистического общества, чьи персонажи «зачастую выступают у него в почти гротескном виде» (М. Раго), ответственность представителей науки за создание оружия массового уничтожения — об ученых, задумавших атомную бомбу, разработавших и создавших ее и без всяких условий и гарантий вручивших политикам и военным, говорится в повести Шаши «Исчезновение Майораны».

Шаша — художник многогранного таланта. Наряду с политически «ангажированными» романами и повестями, он автор произведений, рассказывающих о Сицилии, о ее людях и

обычаях. Не случайно в списке его книг — очерки о сицилийских писателях, наброски киносценариев и даже альбом фотографий о религиозных праздниках на Сицилии. К числу беглых зарисовок «южан» с его родного острова можно отнести маленькую лирическую повесть «Винного цвета море» (1973). Это рассказ о поездке на Сицилию вместе со случайными попутчиками, о человеческих характерах, о детской психологии, о мимолетном чувстве зарождающейся любви. Одним словом, о тех «блаженных тенях мгновенного дня», о которых когда-то писал В. Брюсов в стихах о непознанной любви. Читатель с удовольствием принимает участие в этой поездке, ему, как и герою, интересно в компании сицилийцев, и он с такой же грустью расстается с полюбившимися ему симпатичными персонажами повести.

Л. Шаша продолжает свою деятельность. Как и прежде, в его творчестве превалирует тема кризиса системы, «основанной на коррупции, взяточничестве, кражах» (интервью газете «Джорнале» от 7 марта 1980 года). Правда, сам писатель скептически относится к возможности скорого преодоления нынешнего положения в Италии. «Я не думаю,— отмечал он в том же интервью,— что мы близки к окончательному подведению итогов». На его взгляд, в Италии слишком мало людей «принимает близко к сердцу» существующее положение вещей. Отсюда и его дискуссии с итальянскими коммунистами. Впрочем, Л. Шаша не считает себя пессимистом. «Моя позиция,— подчеркивает он,— это даже не пессимизм. Это простая констатация существующего положения, того, что Макиавелли называл «действительной истиной». Спор этот, видимо, невозможно решить теоретически. Здесь слово за жизнью, за теми смелыми и честными людьми, которых с такой симпатией изображает итальянский писатель.

Г. Смирнов

Палермские убийцы

Повесть

Перевод З. Потановой

I Pugnalatori

© 1975, 1976, Giulio Einaudi Editore, Torino



**Guido Джакоза —
заместитель королевского генерального
прокурора при Апелляционном суде в Палермо.**

Так утвердилось зла первоначало.
Боярдо. «Влюбленный Роланд».

«Вплоть до конца 1860 года я был адвокатом в Ивреа. Королевским указом от 17 декабря 1860 года назначен заместителем адвоката по делам неимущих в Модене с годовым жалованьем в три тысячи лир. Указом от 25 мая 1862 года назначен заместителем королевского генерального прокурора при Апелляционном суде в Палермо с окладом в пять тысяч лир».

1 июня 1862 года «Сицилийские официальные ведомости» опубликовали сообщение: «Адвокат Гуидо Джакоза назначен на пост заместителя генерального прокурора при палермском Апелляционном суде с окладом в пять тысяч лир». Это имя — Джакоза, которое в лице сына адвоката, тогда еще пятнадцатилетнего юноши, станет несколько позже для сицилийцев Луиджи Капуаны, Джованни Верги и Федерико Де Роберто воплощением искренней и прочной дружбы, духовной близости и общности литературных интересов, а также связующим звеном с североитальянскими областями и с Европой*, — это имя для палермцев, прочитавших в тот день газетное сообщение, означало лишь, что еще один пьемонтец заявился хозяйничать на Сицилии, да еще с годовым жалованьем в пять тысяч лир**.

* Сын адвоката, Джузеппе Джакоза (1847—1906), итальянский драматург, был связан дружбой и литературными интересами с группой писателей-веристов Вергой, Капуаной, Де Роберто. (*Здесь и далее — примечания переводчика.*)

** В 1860 г. в результате победного похода Гарибальди во главе «Тысячи» добровольцев в Сицилии, а затем в Неаполе была свергнута реакционная монархия Бурбонов и так чазываемое Королевство обеих Сицилий присоединилось к Пьемонтскому королевству, ставшему центром последующего национального и политического объединения раздробленной Италии.

Сумма по тем временам поистине громадная, если представить ее грудой из тысячи серебряных монет в пять лир, прозывавшихся тогда «дюжинами», потому что они были равноценны монеткам в двенадцать тарі, на которых долго красовалась носатая и губастая физиономия Фердинанда и мимолетно промелькнул более тонкий профиль Франческо в первый год его царствования, оказавшийся последним для всей его династии*.

«Официальные ведомости», обычно уделявшие внимание прибытию и отбытию генералов, судейских лиц и политических деятелей, не известили, однако, о приезде прокурора Джакозы сразу же после его назначения. Нам же доподлинно известно, что уже в июле он находился в Палермо и даже достаточно там освоился, если судить по его раздражению и неприятию «блестящей внешности и скверной сущности», каковые явила ему Сицилия. Его пространное письмо к жене — без указания числа, но легко датирующееся речью Гарибальди, которую, как сообщается в письме, Джакоза накануне слушал в цирке Гийома, — целиком посвящено разрыву между видимостью и реальностью, между подлинным и показным. Внешний блеск и чванность скрывают действительную жизнь «этой несчастной страны», где «совершаются ужасающие преступления» и где «давным-давно забыли, что такое правосудие». Физическая невзрачность Гарибальди разочаровывает даже того, кто, как сам прокурор Джакоза, отнюдь от него не в восторге: он невысок ростом, скорее рыжий, чем белокурый, с пронзительным голосом, простецкими манерами и вульгарным произношением: так раскатисто напирает на «р», что вместо «у Рокко» получается «уррока». Среди всех этих огорчений и разочарований (не последнее из них — школа, куда прокурор записал своего младшего сына Пьеро, «школа, где гораздо больше показного, чем истинных достоинств» и где мальчик продвигается в орфографии и в чистописании поистине черепащими шагами) лишь два утешительных обстоятельства: то, что председатель

* Фердинанд II Бурбонский и его сын Франческо II — монархи Неаполитанского Королевства обеих Сицилий.

суда присяжных — сицилиец, поклонник Пьемонта, человек деятельный и рачительный из партии Ла Фарины* и, следовательно, далекий от Гарибальди и что через два месяца они с Пьеро возвратятся в Пьемонт в отпуск. «Мы сможем обнять вас! Пойми святое блаженство этого слова! Прощай, милый друг...» Мы тоже понимаем его: Гуидо Джакозе было тогда тридцать семь лет.

Но его пьемонтский отпуск оказался недолгим. Согласно «Сицилийским официальным ведомостям» (которые, потеряв «официальность», стали сегодня просто «Сицилийской газетой»), 16 сентября прокурор Джакоза вернулся в Палермо на корабле «Эльба» под командованием капитана Микеле Скьяво. И спустя всего пятнадцать дней — 1 октября 1862 года — он оказался перед лицом преступного акта, устрашающего в своей необычности, над которым ему суждено было ломать голову более года и который сыграл решающую роль в его карьере и во всей его жизни.

«Ужасные события потрясли Палермо вчера вечером,— писали «Официальные ведомости» 2 октября.— В один и тот же час в различных пунктах города, отстоящих примерно на равном расстоянии друг от друга и образующих нечто наподобие тринадцатигульной звезды на плане Палермо, тринадцать человек получили тяжкие ножевые ранения, нанесенные в большинстве случаев в низ живота. Потерпевшие дают сходные описания нападавших: все они одинаково одеты и примерно одного роста, так что в какой-то момент возникло предположение, что действовал один и тот же человек. К счастью...»

К счастью, мимо палатцо Резуттана, у подъезда которого с криком ужаса и боли упал со вспоротым животом таможенный служащий Антонино Аллитто, проходили лейтенант Дарио Ронкеи и младшие лейтенанты Паоло Пешо и Раффаэле Альбанезе из 51-го пехотного полка. Они увидели убегающего

* Ла Фарина (1815—1863) — один из лидеров умеренной буржуазно-либеральной партии Пьемонта. Прибыл на Сицилию во время экспедиции Гарибальди, чтобы ускорить присоединение Острова к Сардинскому королевству. Гарибальди выслал Ла Фарину из Сицилии, но позже король поручил ему управление островом.

преступника и бросились вдогонку. К ним присоединились капитан полиции Николо Джордано и полицейский Розарио Грациано. Они не теряли из виду преследуемого вплоть до угла палаццо Ланца, где в подвале находится сапожная мастерская; несмотря на то что время близилось к полуночи, она была еще открыта и там работали, вероятно исполняя к утру срочный заказ для свадьбы или крестин. В этой-то мастерской в надежде на помощь, которую не преминут оказать человеку, преследуемому полицией, и попытался укрыться преступник; он ворвался туда, столкнул одного из мастеровых со скамейки перед сапожным столиком и, усевшись, прикинулся, будто занят делом. Однако полицейский Грациано, вбежавший через несколько секунд, когда обстановка еще не приняла свой обычный вид, сразу же понял, что надо хватать того, кто выказывает наименьшее волнение. Он кинулся на беглеца, скрутил ему руки и передал подоспевшим капитану Джордано и офицерам. Обыскав задержанного, они обнаружили нож с пружиной и остроконечным лезвием, весь в крови. Позднее в полицейском участке была установлена личность преступника: это был палермец Анджело Д'Анджело, тридцати восьми лет, чистильщик сапог (ремесло, которым он занялся, расставшись с более утомительным трудом носильщика при таможне).

Разумеется, несмотря на найденный при нем окровавленный нож, Д'Анджело решительно отрицал, что он ранил Антонино Аллитто или кого-либо другого у палаццо князя Резуттана. Он признался, что действительно проходил по этой улице, но якобы, услышав крик раненого и увидя сбегавшихся к нему людей, он кинулся прочь, испугавшись, как бы ему, хоть и невинному, не вышло какой беды, поскольку полиция Итальянского королевства предубеждена на его счет, подозревая, что он был постоянным осведомителем полиции Королевства обеих Сицилий. Продолжал он отпираться и на следующий день у судебного следователя. «Однако спустя еще день, 3 октября, этот несчастный, подавленный тяжким бременем своего преступления, потрясенный взрывом всеобщего негодования, быть может терзаемый муками совести и испугавшись народных проклятий, решил не только признаться в собственной

виновности, но и раскрыть целую цепь преступлений, все то, что было ему известно о чудовищном сговоре и о злодейском покушении, в которых он участвовал».

Можно не сомневаться — хотя председатель суда присяжных на процессе испытывал такого рода сомнения, — что признание Д'Анджело действительно было вызвано угрызениями совести; об этом говорит то обстоятельство, что Д'Анджело до совершения преступления, желая избежать соучастия в нем, пытался прибегнуть к защите полиции или хотя бы найти убежище в тюрьме. Вечером 28 сентября он явился в полицейский участок, «прося оказать милость» и задержать его. Он уверял, что двое людей грозились его убить. Полицейский бригадир Сансоне спросил о причине. Тот ответил: «Потому что я хочу поступить на службу в квестуру»*. Не будучи вполне убежден, но поверив, что Д'Анджело действительно боится насильственной смерти, хотя и подозревая, что ему угрожали скорей всего по иным причинам, бригадир приказал надеть на просителя наручники и обыскать. В кармане у него нашли девять тариховыми и старыми деньгами (они были еще в ходу) — сумма, которая у человека такого происхождения и поведения, как Д'Анджело, естественно, вызвала бы желание пойти в таверну или в дом терпимости, но никак не в полицейский участок с просьбой о собственном аресте. А потому бригадир счел нужным «оказать милость» и задержать его; однако на следующий день к полицейскому инспектору явились брат и сестра арестованного и объяснили, что Д'Анджело немного не в себе, так как ему изменила жена (каковой на самом деле у него не было). Инспектор не усмотрел никаких оснований держать в тюрьме человека, обезумевшего от личных неприятностей, и вернул его родственникам, то есть подлой банде, от которой тот пытался укрыться. Нам неизвестно, узнали ли его наниматели и сообщники об этой попытке к бегству; если же узнали, то совершили поистине роковую ошибку, не убив его, как заведено в таких случаях, и — еще того хуже — заставив выполнить

* Полицейское управление.

обязательство, в счет какого и были ему выданы деньги, найденные в его кармане бригадиром Сансоне. Но расскажем по порядку. И вернемся, следовательно, к событиям, происшедшим вечером 1 октября.

В тот самый час, когда Анджело Д'Анджело привели в полицейский участок, установили его личность и начали допрашивать, в другие участки и в квестуру стали поступать сигналы о новых покушениях. Кроме Антонино Аллитто, на кого, как выяснилось, напал Д'Анджело, к утру оказалось, что более или менее тяжелые ножевые ранения получили еще двенадцать человек; причем все двенадцать заявили, что нападавшие им незнакомы и что ни в их образе жизни, ни в их давних и недавних поступках нет ничего такого, что могло бы обратить против них нож мстителя. Правда, перелистывая полицейские рапорты с тех времен до наших дней, редко встретишь, чтобы человек, раненный ножом или из обрезца, назвал бы имя напавшего или дал бы сведения для установления его личности (мы, разумеется, говорим здесь о Палермо и о Сицилии). Но тринадцать человек за одну ночь, утверждающие одно и то же и примерно одинаково описывающие человека, который нанес им ранение,— это было чересчур даже для квестуры Палермо. К тому же едва ли кого-нибудь из пострадавших можно было заподозрить в том, что он способен затеять драку или получить удар ножом в отместку за собственные злодеяния; все это были труженики и домоседы самого миролюбивого нрава. Лишь у одного из них — Лоренцо Альбамонте, сорокасемилетнего сапожника — было темное прошлое, чем его непрестанно попрекали на суде, хотя все знали, что это прошлое не имело никакого отношения к полученному им удару ножом в пуп вечером 1 октября, когда он проходил по улице Виктора-Эммануила.

А вот список остальных одиннадцати жертв, их имя, возраст, занятие или положение, место и обстоятельства нападения на них в хронологическом порядке с самого вечера и до полуночи, как это было установлено предварительным следствием.

Джоаккино Соллима, шестидесяти лет, служащий Королев-

ской лотереи, находился на площади Караччоло, иначе говоря на рынке «Вуччирия», вместе с Джоаккино Мирой, служащим тридцати двух лет. Они приценивались к тыквам, когда их с молниеносной быстротой ударил ножом один и тот же человек: Соллиму — в область кишечника (отчего он скончался четыре дня спустя), Миру — в пах.

Газтано Фацио, двадцати трех лет, землевладелец, и Сальваторе Северино, двадцати пяти лет, служащий, разговаривали, стоя возле иезуитской церкви на улице Виктора-Эммануила, и вдруг услышали, как какой-то тип заорал им на бегу: «Вы оба из партии», и этот крик изумил их даже больше, чем неожиданно полученные обоими ножевые раны в живот¹.

Сальваторе Орландо, помещик сорока трех лет, ехал в коляске по улице Кастельнуово; навстречу, шатаясь, брел человек, который того и гляди мог оказаться под лошадью. Орландо приказал кучеру ехать тише. Но человек, показавшийся ему пьяным, приблизился вплотную к коляске, неожиданно занес руку с ножом и нацелил удар прямо в грудь. Орландо инстинктивно заслонился локтем и одновременно отпихнул нападающего ногой, отчего тот рухнул на землю. Орландо отделался легким ранением.

Джироламо Баньяско, двадцатипятилетний скульптор, проходя мимо церкви Кармине Маджоре, увидел человека, преклонившего колена у образа мадонны с зажженной перед нею лампадой во внешней нише. Подойдя ближе, Баньяско услышал, как человек внятно произнес: «Какую подлость со мною творят». Скульптор сделал еще несколько шагов, он хотел утешить

¹ Тот, кто ранил Северино и Фацио и остался необнаруженным среди 12 наемников, видимо, не знал, что было задумано нападать на случайных людей, наудачу; он полагал, что наносит удары сторонникам «итальянской», антибурбонской партии. По его мнению, лица, на которых ему указал начальник шайки, были врагами их «дела». Вероятно, это был его собственный домысел, ведь Д'Анджело в своем признании не указывал, что его подобным образом обманули. Впрочем, в те времена наемнику было бы трудно представить себе, чтобы приказ об убийстве или ранении не был продиктован страстью, мстью или экономическими побуждениями. «Страсти напряженности» тогда еще только-только изобретали. (Все примечания, данные под номером, принадлежат автору.)

молящегося в его скорби. Но тот внезапно вскочил на ноги и нанес ему два ножевых удара, «один — в левую подвздошную область, другой — в область эпигастрия».

Джованни Мацца, восемнадцати лет, кучер, сидел у входа в училище «Марии аль'Оливелла», когда к нему приблизился просивший подаяния человек, с руками, сложенными крестнакрест на груди. На расстоянии шага он разъял руки и взмахнул ножом. Инстинктивно прикрывшись рукой, юноша получил такую тяжелую рану, что спустя три месяца медики все еще пребывали в сомнении — сохранить эту искалеченную руку или ампутировать ее (дилемма для нас поистине непостижимая).

К Анджело Фьорентино, двадцати трех лет, лодочнику, подошел на улице Бутера некий человек, попросивший понюшку табаку и тут же всадивший ему нож в левый бок.

Портной Сальваторе Пипиа, тридцати шести лет, проходивший близ монастыря «Мура делла Паче», повстречался с человеком, который остановил его, спросив: «Не подаст ли мне чего-нибудь ваша милость?» Когда же Пипиа ответил отказом, тот набросился на него и нанес ему два удара стилетом в плечо.

На Томмазо Патерну, двадцати двух лет, кондитера, напал какой-то тип, шедший ему навстречу по улице Санта Чечилия; Патерне показалось, что его лишь ударили кулаком, и он не стал ввязываться в ссору с пьяным по виду человеком; на самом же деле он получил ножевую рану в правую подвздошную область.

И наконец, Карло Бонини Сомма, служащий тридцати пяти лет, был ранен сзади в позвоночник, когда входил в дом американского консула; нападавшего он увидел лишь мельком, когда тот убежал.

Картину происшествий этого вечера надо дополнить следующими подробностями: следствие установило, что Альбамонте был третьим по времени пострадавшим, Аллитто — девятым. Последний показал, что его ранил неизвестный, который громко сетовал на то, что арестовали его сына, и Аллитто подошел, чтобы его утешить. Этот случай (подтвержденный позже признанием Д'Анджело), как и инцидент со скульптором Баньяско,

показывает, как неразумно бывает иной раз проявлять сочувствие и оказывать христианское милосердие не к месту и не ко времени.

Итак, за исключением Бонини Соммы, которого ударили сзади, все те, кто оказался лицом к лицу с нападавшим, дали точные и сходные описания его одежды, но их сведения о телосложении и чертах лица были весьма туманны (в то время многие носили бороду, заметим — как и в наши дни). Поначалу даже возникла мысль, что всех этих людей ранил один и тот же человек, а именно Анджело Д'Анджело, схваченный почти на месте преступления с окровавленным ножом в кармане. Но позднее, когда обнаружилось, что некоторые подверглись нападению уже после того, как Д'Анджело был задержан, стало ясно, что нападавших было несколько человек, участников одной операции, подчинявшихся единой воле, но незнакомых друг другу; отсюда и предосторожность: чтобы они не перекололи друг друга, их одели на одинаковый манер (примерно так одеваются ныне сицилийские певческие фольклорные группы; собственно говоря, к фольклору они имеют мало отношения, ибо упускается из виду, что самой традиции хорошего пения на Сицилии никогда не существовало, — факт хоть и негативный, но отнюдь не маловажный.)

Но помимо мер предосторожности в желании видеть этих людей в униформе, вполне вероятно, сказалось притязание их главаря ощутить себя командующим армией, крохотной, но опасной, и тем самым оправдать свою и их подлость посредством некой юридической иллюзии: она возникла на основе соглашения между противниками считать мундир открытым изъяслением определенных убеждений и принадлежности к военной службе, а каждого, кто его носит — независимо от дела, за которое он сражается и от средств, которые используются им для торжества этого дела, — человеком чести. Это пагубное оправдание; оно, как мы полагали, было окончательно разбито в наши дни на Нюрнбергском процессе над нацистскими военными преступниками; но, быть может, это тоже лишь наша иллюзия.

3 октября Анджело Д'Анджело сделал следователю полное

признание не только в преступлениях, совершенных им самим, но и во всем, что было ему известно о событиях вечера 1 октября: предшествовавших им сходках и сговорах, о злодейском сообществе, в котором он принимал участие, и о тех, кто их завербовал и послал сеять ужас в городе. В результате признания Д'Анджело было немедленно арестовано одиннадцать человек: Газтано Каstellи, сорока трех лет, уличный сторож (ремесло, аналогичное ремеслу испанских «serenos»*); Джузеппе Кали, сорока шести лет, торговец хлебом; Паскуале Мазотто, тридцати шести лет, позолотчик; Сальваторе Фавара, сорока двух лет, продавец стекол; Джузеппе Термини, сорока шести лет, сапожник; Франческо Онери, сорока восьми лет, сапожник; Джузеппе Денаро, тридцати пяти лет, носильщик; Джузеппе Джироне, сорока двух лет, плетельщик стульев, и его брат Сальваторе, тридцати двух лет, плотник; Онофрио Скрима, тридцати шести лет, батрак; Антонино Ло Монако, тридцати шести лет, продавец в съестной лавке. Первые трое были вербовщиками и возглавляли группы, на которые шайка разбилась вечером 1 октября; поскольку Д'Анджело был завербован самим Каstellи, то с ним он и был в тот вечер, исполняя его приказания.

Д'Анджело рассказал, как проходила вербовка. 24 сентября он случайно повстречался с Каstellи, и тот спросил, не хочет ли он зарабатывать по три тари в день. Д'Анджело ответил, что хочет, однако поинтересовался — как?

Каstellи уклонился от ответа, сказав, что их будет пятеро. Д'Анджело настаивал, желая узнать, «какую дадут работенку». Когда же Каstellи ответил, что нужно кое-кого подколоть, Д'Анджело не стал задавать других вопросов: труда тут особого не было. Он согласился, и ему назначили встречу на воскресенье после полудня, на Форуме. Там он встретился с другими завербованными, за исключением Фавары, который отсутствовал по уважительной причине. Каstellи повторил обещание платить по три тари в день. Но рекруты потребовали

* Ночные сторожа (*исп.*).

гарантий — имени нанимателя, чтобы увериться в его платежеспособности.

Кастелли отозвал в сторонку Мазотто и Кали, и они посовещались. Потом он вернулся и объявил, что плату им обеспечивает князь Джардинелли. Последовало недоверчивое молчание, а затем — залп насмешек. Всему Палермо было известно, что князь Джардинелли промотал все свое состояние; откуда бы ему взять по три тари в день на двенадцать человек? Трудно было также предположить, чтоб кто-либо доверил ему выплату: он прибрал бы денежки к рукам либо тут же растратил на собственные удовольствия.

Новое совещание с Мазотто и Кали, а затем сообщение, после которого, как выразился Д'Анджело, «мы унялись». «Лицо, стоящее над вами, — князь Сант'Элиа». Но все-таки унялись они не сразу, а продолжали спрашивать, какой же интерес князю Сант'Элиа, богатейшему и глубокоуважаемому сенатору Итальянского королевства*, устраивать такую заварушку. Но Кастелли ответил, что им об этом думать нечего, это дело «больших голов», то есть людей умных, сведущих и могущественных. И поскольку рекруты «большими головами» не были, но кое-какое чувство сожаления к Бурбонам все же питали, Кастелли считал нужным добавить к их сведению: «Это затеи бурбонские». «Когда дело объяснилось, — продолжает Д'Анджело, — все согласились на уговор, и нам стали платить, начиная прямо с того воскресенья и по самую среду, когда меня арестовали». Нет ничего невероятного в том, что никто не задумался о гнусности дела, за которое взялся, не воспротивился, не отступился, в том числе и сам Д'Анджело, позже на свой лад удрученный до такой степени, что не осмеливался тратить полученные деньги. Ничего невероятного, если учесть, что, по подсчетам одного служащего палермской квестуры, в наши дни за убийство человека достаточно заплатить двести пятьдесят тысяч лир, что

* После присоединения Сицилии к Пьемонту пьемонтские власти дали почетные должности многим сицилийским магнатам, чтобы привлечь их на свою сторону. Так было, в частности, с сенаторскими креслами.

вполне соответствует тогдашним трем тари, — ведь деньги нынче легки и тратят их с легкостью.

Последовало еще несколько встреч, но приказа все не поступало, так что некоторых даже стала тревожить совесть за те три тари в день, что они получали, не «сслужив службы» тому, кто их выплачивал. Наконец вечером первого октября Каstellи заявил: «Сегодня будем глушить рыбу», то есть состоится бойня наподобие того, как забивают тунца, когда идет косяк.

В час вечерней молитвы по распоряжению Каstellи к зданию финансовой управы явились Д'Анджело и Термини (куда отправились остальные две группы, Д'Анджело не знал). Не выходя за пределы квартала, они трижды выполнили приказ Каstellи. Д'Анджело и Термини разыграли между собой в чет и нечет, кому начинать. Жребий выпал Термини. Д'Анджело должен был расправиться со вторым; он оказался трусливее своего сообщника: подошел к жертве с просьбой дать понюшку табаку. Третий приходился на долю Термини, но Каstellи снова назначил черед Д'Анджело — быть может, чтобы проучить его.

Подлинность фактов и имен одиннадцати исполнителей в рассказе Д'Анджело не подвергалась сомнению, а вот имя главного организатора показалось совершенно неправдоподобным. Точнее, поверили, что Каstellи, по соглашению с Мазотто и Кали, действительно назвал это имя, но лишь для того, чтобы оно послужило гарантией выплаты и ширмой для истинного главаря. Разумеется, Каstellи отрицал все до последнего слова и до последнего дня. Так же вели себя и остальные. В результате сложилось мнение, что князь Сант'Элиа стал четырнадцатой жертвой — не ножа, а клеветы. Так обстояло дело к моменту процесса над двенадцатью преступниками; так считал и прокурор Джакоза, поддерживавший обвинение. Но горячность, с которой он в своей обвинительной речи отвергал подозрение, что князь Сант'Элиа мог приложить руку к этим преступлениям, как раз выдает подспудное стремление избавиться именно от этой догадки, неотступно тревожившей его.

Как бы то ни было, с признанием Д'Анджело и арестом остальных одиннадцати соучастников расследование событий 1 октября можно было считать законченным, по крайней мере — со стороны полиции, хотя королевские карабинеры его еще продолжали, вероятно самостоятельно. Об этом можно догадаться по рапорту «О преступлениях и происшествиях, которые имели место в Палермо и его окрестностях с 1 по 15 октября 1862 года». В этом рапорте «покушения» вечера 1 октября распределены следующим образом: Анджело Д'Анджело приписываются нападения на Альбамонте, Северино и Фацио; Сальваторе Фаваре (и «остальным тринадцати») — на Аллитто, Пипиа, Сомму, Патерну и Фьорентино; ранения Мацце, Мире и Соллиме нанесены неизвестными. Тот факт, что, по расчетам карабинеров, наемников было не двенадцать, а тринадцать, объясняется появлением в рапорте еще одного — тринадцатого — имени, некоего Джузеппе Ди Джованни, «который подозревается» в нападении на скульптора Баньяско и в «участии в других нападениях, имевших место в различных пунктах города вечером 1 октября». Имя этого Ди Джованни начисто отсутствует в судебных документах, и это непонятно, поскольку в рапорте ясно сказано, что этот человек предоставлен в распоряжение следователя по данному обвинению. Не понимаем мы и другого (вернее, великолепно понимаем, ибо в наши времена видывали вещи и похуже): каким образом карабинеры 15 октября могли не знать того, что квестуре и судебным органам было известно уже 3 октября, а именно всего, что рассказал Д'Анджело.

Процесс состоялся довольно скоро: 8 января 1863 года уже открылись прения в суде присяжных. Председателем был маркиз Мауриджи, советниками — синьоры Прадо, Пантано, Мацца и Кальвино; защитниками обвиняемых — адвокаты Пьетро Кальваньо, Агостино Тумминелли и заместитель адвоката по делам неимущих Джузеппе Салеми-Паче; старшиной двенадцати присяжных (с двумя запасными) — некто Делли. Обвинение поддерживал, как уже указывалось, генеральный прокурор Гуидо Джакоза.

Зал заседаний, говорилось в криспианской* газете «Предвестник», «был переполнен», в публике царило «лихорадочное ожидание». Одиннадцать обвиняемых (разумеется, «с печатью порока на свирепых лицах») сидели на одной скамье; Анджело Д'Анджело был помещен отдельно из опасения, что остальные забьют его наручниками или загрызут до смерти. Весь процесс был основан на его показаниях, на его обвинениях, «добровольность и неизменность которых,— говорилось в заключении следователя,— придают им характер истинности, что подкрепляется правдоподобием сообщенных фактов и их соответствием происшедшему; их естественным, простым и связным изложением, сочетающимся с подтвержденными следствием доподлинностью и очевидностью ряда второстепенных обстоятельств; отсутствием противоречий и колебаний со стороны свидетельствующего, его твердостью и выдержкой на очных ставках с другими обвиняемыми, которые его поносили и проклинали; а с другой стороны — поведением этих последних, их путаными ответами; полнейшей несостоятельностью всех тех оправданий, которые они пытались себе приискать и которые, наоборот, послужили вящему изобличению их виновности, каковая виновность к тому же устанавливается другими особыми фактами, в том числе — перехваченной запиской, написанной Мазотто в тюрьме, найденным в доме у Онери ножом запрещенного образца с запекшейся на нем кровью, а также попыткой Сальваторе Джироне скрыться от ареста».

Из этого отрывка видно, как мало было собрано улик и доказательств против одиннадцати обвиняемых: признание Д'Анджело о самом себе и соучастниках, последовательность его показаний и спокойствие на очных ставках с другими обвиняемыми — и больше ничего, что могло бы засвидетельствовать их виновность. Что же касается «особых фактов», упоминаю-

* Криспи Франческо (1819—1901) — сицилиец, итальянский политический деятель. Участник похода гарибальдийской «Тысячи» на Сицилию, Криспи, будучи избран в начале 60-х годов в парламент Пьемонта, порвал с республиканцами, перейдя на сторону буржуазных монархистов. В дальнейшем — премьер-министр Объединенного итальянского королевства, проводил реакционную внешнюю и внутреннюю политику.

щихся в заключении следствия, то таких по существу и нет. То обстоятельство, что Сальваторе Джироне пытался избежать ареста, удирая по крышам, вовсе не говорит о его виновности именно в данном деле. Когда в дом, подобный дому Джироне, стучится полиция, совершенно естественно возникает страх ареста и более чем естественно попытка улизнуть — особенно если ты невиновен. А найденный в доме у Онери нож под названием «козлийный резак» с пятнами крови мог попросту означать, что он был употреблен по своему прямому назначению (тогда ведь не существовало возможности установить, человеческая это кровь или козья). Что же касается таинственной записки Мазотто, то текст ее у нас перед глазами, и можно истолковать его как напоминание некоему Газтано, что вечер 1 октября он провел вместе с Мазотто.

Разумеется, алиби ни у кого не было. А у тех, кто, как Мазотто, пытался им заручиться, оно легко рухнуло. Но это был один из тех процессов, для которых предписывается перенесение судопроизводства в другое место ввиду «законного подозрения»*: никто в Палермо не сомневался в виновности подсудимых, общественное мнение было против них, даже в зале суда имели место шумные проявления негодования. Поэтому понятно, что к глубоко укоренившейся традиции сицилийцев уклоняться от дачи каких бы то ни было показаний присоединялось нежелание ввязываться в дело, вызвавшее омерзение как в имущих классах, так и в народе. Да к тому же если бы — при всеобщей убежденности в виновности подсудимых — и нашлись добросовестные свидетели защиты, то их воспоминания неизбежно оказались бы противоречивыми, они путались бы даже наедине с самими собой и уж подавно — в присутствии полицейского или перед судебным следователем. В общем, это был отнюдь не беспристрастный процесс. Однако, даже если отнести некоторые моменты в пользу подсудимых, у нас все же

* «Законное подозрение» («legítima suspesione») — выражение из итальянского кодекса: оно указывает один из случаев, когда процесс может быть перенесен в другой населенный пункт, так как существует подозрение, что местная среда оказывает определенное влияние на ход судебного разбирательства.

не возникает никаких сомнений в их виновности.

Самым тяжким обвинением для всех, включая Д'Анджело, но в особенности для Каstellи, Мазотто и Кали было обвинение в «прямой попытке свержения и перемены нынешней формы правления», ибо эти покушения, совершенные наудачу, могли преследовать лишь одну цель — заставить людей пожалеть о том порядке, что умела поддерживать полиция при Бурбонах². Постоянное и неизменное заблуждение, в коем пребывают итальянцы, особенно на Юге, вечно мечтая или сожалея о порядке, которого никогда не существовало, но о котором по непостижимым причинам всегда вспоминают. Был, дескать, он. И нету. Надо, чтобы он вернулся. Отсюда и «партии порядка», и «люди порядка», которые якобы могут его возродить.

Но если этих двенадцать обвиняемых и можно было бы подозревать в ностальгии по бурбонскому порядку, поскольку почти все они ранее состояли — или подозревалось, что состояли, — осведомителями тогдашней полиции, то приписать им инициативу создания сообщества и в особенности коварное намерение (оно осуществилось бы, не будь схвачен Д'Анджело) вызвать посредством этих беспорядков сожаление по ушедшему порядку было бы трудно. И совсем невероятным было бы предположение, чтобы кто-нибудь из них оказался в состоянии нанять прочих и платить им по три тари в день. Поэтому Каstellи, Мазотто и Кали рассматривались на суде как «трое агентов неких злоумышленников, которым пока удалось

² В том, что нападения совершались по замыслу бурбонской партии, не сомневался ни один честный и здравомыслящий человек. 17 октября 1862 г. некто Мариано Стабиле писал к Микеле Амари: «Все еще идут аресты, но не выяснилось пока ничего определенного для обнаружения и наказания этих убийц, которые в один и тот же час, в один и тот же вечер набросились в различных пунктах города на людей, без каких-либо политических предпочтений и взглядов. Что до меня, то я считаю это замыслом и делом рук бурбонско-клерикальной партии, ибо убийства совершились с единственной целью — посеять ужас, а потом утверждать, что таков результат нынешнего скверного правления...» Характерно, что, несмотря на арест двенадцати злоумышленников, Стабиле не считал успешными действия полиции и магистратуры, поскольку им не удалось добраться до зачинщиков и вдохновителей преступления.

укрыться от розысков правосудия». Но допустить, что один из этих «злоумышленников» мог бы зваться Ромуальдо Тригона, князь Сант'Элиа... «Это имя олицетворяет честность, приверженность порядку, испытанный патриотизм»,— говорил председатель суда присяжных маркиз Мауриджи. Ему вторит прокурор Джакоза: «Это одно из самых прекрасных имен Сицилии, имя, упоминание коего вызывает рукоплескания всех честных граждан... Я произношу это имя с краской на лице. Да простит господь тем, кто изрек нечестивую клевету, как, несомненно, простил ее сам оклеветанный».

Но эта краска, которая, как мы полагаем, была замечена,— бросилась ли она в лицо прокурору и вправду от стыда, что ему приходится упоминать о клевете, или, скорее, от раздражения против самого себя, оттого, что он *malgré lui** верил этой клевете в тайниках своей совести? Несколько месяцев спустя он писал в докладе, по-видимому предназначавшемся министерству юстиции и помилования: «Я, имевший честь представлять на этом процессе обвинение, коснувшись эпизода с князем Сант'Элиа, без колебания квалифицировал его как клевету и использовал как повод для воздаяния князю публичной хвалы. Но несмотря на это, в глубине сознания у меня оставалась, если можно так выразиться, черная точка, нечто необъяснимое, некое сомнение, неразрешенный вопрос. Клевета! Но почему клевета? Какой смысл был Кастелли клеветать на князя? Почему, желая сообщить своим сотоварищам имена тех, кто им платит, он избрал именно этого человека, а не кого-либо другого? Разве не мог быть этот факт истиной? Так исподтишка нашептывала мне совесть, пробуждая скверные мысли, которые разум отвергал как искушение,— настолько, повторяю, была блестяща и безупречна репутация князя Сант'Элиа, настолько общеизвестна его преданность нынешнему порядку».

Но будучи твердо убежден (как и мы) в виновности двенадцати подсудимых, он в суровой речи, без риторических прикрас, не процитировав Данте, не упомянув ни Ликурга, ни Сократа, ни Катилину, ни Югурту (к которым неукос-

* Помимо воли (франц.).

нительно прибегли три сицилийских адвоката), попытался эту виновность доказать. Результат был, как он говорил позже, соответствующий и грозный: суд принял его требование. Смертная казнь для Каstellи, Мазотто и Кали; пожизненная каторга для Фавары, Термини, Онери, Денаро, братьев Джироне, Скримы и Ло Монако; двадцать лет каторжных работ для Анджело Д'Анджело.

«Все аплодировали,— вспоминает Гуидо Джакоса.— Народ обрадовался приговору как святому и правому делу, и никому в голову не приходило обвинять судебные власти в поспешности и необдуманности действий, ибо все осужденные принадлежали к самым низшим слоям общества». Добавим, что даже те юристы, которые были противниками смертной казни, одобрили приговор. «Филантропы,— иронизировал адвокат Франческо Паоло Орестано,— приблизьтесь к одру умирающего Соллимы (это было уже невозможно 13 января 1863 года, поскольку Соллима скончался 5 октября 1862 года), посмотрите, как честный гражданин умирает, страдая от ран и от расставания с самым дорогим для него на земле — с женою и детьми, а потом кричите изо всех сил об отмене смертной казни в наши дни. Я разделяю мнение Беккариа*, Виктора Гюго и многих других благородных умов о недопустимости смертной казни в уголовном праве, но сегодня это — жестокая необходимость...»

Итак, приговор был вынесен 13 января, вероятно поздно вечером, ибо «Официальные ведомости» писали 14 января, что, когда «подошло время печатать газету», присяжные еще не вышли из совещательной комнаты, дабы огласить свое решение ожидавшей «огромной толпе».

Быть может, среди этой «огромной толпы» находился и торговец хлебом Доменико Ди Марцо со своей женой. Они спокойно направлялись домой, как почти все палермцы, удовлетворенно и облегченно вздохнувшие после этого сурового приговора, когда на углу улицы Монтесанто неизвестный подскочил к ним

* Беккариа Чезаре (1738—1794) — выдающийся итальянский юрист, просветитель, автор труда «О преступлениях и наказаниях», в котором высказывается за отмену закона о смертной казни.

сзади и нанес мужу удар кинжалом в спину между первым и вторым позвонками.

«Квестор, находившийся при исполнении служебных обязанностей, вместе с инспектором квестуры кавалером Фемистокле Солерой (надо понимать, в этом квартале), узнав о случившемся, немедленно принялся за розыски убийцы, и после немалых и нелегких расследований ему удалось арестовать неких Д. Р., М. Ф. и К. Б., людей сквернейшего поведения, каморристов*, замеченных близ места происшествия» — так писали «Официальные ведомости» 15 января. Но ввиду того, что аресты были произведены в тот же вечер, 13 января, успех, видимо, следует приписать не столько «немалым и нелегким расследованиям», сколько тому, кто подсказал эти имена квестору и кавалеру Солере. При сменах режима число осведомителей полиции настолько увеличивается, что сама полиция уже начинает в них путаться; тут есть старые агенты, которые хотят выслужиться заново; новые, которые хотят вытеснить старых; не говоря уже о дилетантах, каковыми, по-видимому, руководит определенная вера в новый порядок, и о заинтересованных лицах, желающих направить новый порядок по руслу старого, то есть опять наносить удары тем же людям, что были мишенью при старом порядке. Эта последняя операция в наши дни прodelьвается довольно легко. И в те времена в квестуре Палермо тоже, должно быть, так и кишели доносчики. Как бы то ни было, вечером 13 января из этого муравейника была получена точная информация, и, исходя из нее, прокурор Джакоза и судебный следователь Мари вновь принялись за трудное расследование дела об убийцах.

В слухах о происшедшем, разнесшихся по всему городу, число покушений умножилось: был ранен якобы не только Ди Марцо, но еще восемь человек в разных кварталах. «Предвестник» уже заранее забил тревогу: «Вчера вечером близ Госпиталья ранен ножом один из жителей. Нападавший арестован, при нем

* Каморра — преступная организация грабителей и вымогателей, процветавшая на юге Италии вплоть до середины XX века, ныне вытесняемая более влиятельной мафией.

нашли окровавленный кинжал. Быть может, он тоже принадлежит к злодейской шайке?»

Квестура опубликовала опровержение: «Распространившиеся за последние дни в Палермо слухи о ряде нападений ложны. Единственный случай ножевого ранения (подразумевается инцидент, который можно приписать шайке, ибо в городе не обошлось тогда без поножовщины в драках или из-за личной вендетты) — покушение на Доменико Ди Марцо 13 января». Однако опровержение никого не убедило: город был охвачен страхом, паникой. Все ходили с палками, ибо другого оружия у честных граждан не осталось, поскольку королевский комиссар* с удивительной быстротой на следующий же день после событий 1 октября издал декрет о всеобщей сдаче оружия³. Из всех мер, доступных властям, декретирование — самая немудреная и в наши дни: она, кстати, облегчает дело тому, кто плюет на декреты, об имеющемся оружии не сообщает и тем паче его не сдает. В результате люди, особенно по вечерам, старались держаться друг от друга на расстоянии длины палки — кому хочется получить сокрушительный удар дубиной по голове. Подобные недоразумения действительно имели место, и при этом пострадали даже полицейские агенты, одетые в штатское. Кое-кто из них был арестован карабинерами; редакторы «Предвестника» всем им сулили избивание палками — если квестура не прекратит посылать своих агентов на дежурство в штатском. Нет нужды пояснять (ибо читатели, как и мы, куда как

* Королевский комиссар — наместник короля Виктора-Эммануила на Сицилии после включения острова в состав Объединенного итальянского королевства.

³ 2 октября 1862 г. наместник генерал Филиппо Бриньоне издал следующий декрет: «Статья 1. Приказываю немедленно провести всеобщую сдачу оружия в провинции Палермо и во всех других провинциях острова. Исключения составляют полиция, национальная гвардия при исполнении обязанностей, консулы и консульские агенты. Статья 2. Владельцы оружия любого рода должны сдать его в течение трех дней со дня опубликования настоящего Декрета в местные органы полиции. Статья 3. Запрещена выставка и продажа любых видов боевого оружия, продавцы также обязаны подчиниться приказу о сдаче согласно предшествующей статье. Статья 4. Нарушители данного Декрета будут арестованы и наказаны по всей строгости закона вплоть до расстрела». Кое-кого действительно расстреляли. Разумеется — не бандитов.

задним умом крепки, наверно, уже это поняли), что квестура лгала: произошло еще два или три покушения, которые с достаточным основанием можно было приписать шайке; мы знаем это из донесения прокурора Джакозы. Сообщили лишь об одном Ди Марцо — потому что этот случай был самый ужасный и его трудно было скрыть: через несколько дней бедняга скончался.

Имена арестованных, каковые «Официальные ведомости» с похвальной предосторожностью скрыли под инициалами (перепутав один из них), были: Джованни Руссо, Микеле Эннио и Камилло Бруно. Ди Марцо и его жена опознали Руссо. Известно, чего обычно стоят опознания, когда их требует полиция; но в данном случае была довольно убедительная подробность: жертвы нападения, а может быть только жена Ди Марцо, желая оттолкнуть или задержать насильника, оторвали у него карман куртки (плисовая куртка оливкового цвета — униформа убийц 1 октября). Позже при обыске в доме Руссо была найдена такая куртка без кармана, и опознание можно было считать несомненным. Но два дня спустя следователь Мари брал показания у умирающего Ди Марцо и его жены, и вот неожиданность — оба начисто отказались от всего того, что заявили сразу же после происшествия, не признавали своих свидетельств о наружности нападавшего; отрицали, что опознали Руссо в первый раз на очной ставке и во второй раз, когда на него надели куртку с оторванным карманом. Теперь они утверждали, что прекрасно знают преступника, некоего Эудженио Фарану, рабочего при городском водопроводе. Когда же задержали Фарану, то перед следователем предстал «человек малорослый, хилого сложения, с внешними приметам, совершенно противоположными тем, что вначале были описаны пострадавшим и его женой», а главное — вне всякого сомнения, невиновный.

Мари и Джакоза впали в полную растерянность и замешательство. Но, изрядно поломав голову, они поняли, что единственная нить, потянув которую можно размотать запутанный клубок, — это как раз отпирательство супругов Ди Марцо.

По какой причине Ди Марцо не только отказываются от своих показаний против Руссо, но даже называют своим обидчиком

человека, «по приметам столь несхожего с первоначальным описанием»? «Причина эта, по нашему разумению, может быть только одна. Очевидно, кто-то повлиял на Ди Марцо, кто-то приходил к нему в больницу и посулами либо угрозами заставил коренным образом изменить первоначальные заявления».

Стали расспрашивать полицейских, дежуривших в больнице у Ди Марцо, «но ничего не узнали». Наконец из случайных неофициальных разговоров с двумя санитарями выяснилось, что «кроме жены, падчерицы и родных раненого посещало еще одно лицо, которое, как они считали, принадлежит к служащим полицейского управления».

Он действительно к ним принадлежал: это был полицейский инспектор Дадди, начальник округа Набережной.

Поскольку нападение было совершено в округе Трибунала, а больница находилась в округе Королевского дворца, у начальника округа Набережной не было никаких оснований для разговоров с пострадавшим. Обратились за разъяснениями к квестору, запросили у него заодно сведения о Дадди. Квестор ответил, что Дадди не получал никаких поручений встречаться с Ди Марцо. По должности это не входило ни в его обязанности, ни в права. «Квестор дал нам,— пишет Джаккоза,— такую характеристику инспектора, что мы сочли его вполне способным не только принудить Ди Марцо взять обратно свои показания, но и самому быть активным участником темного заговора, вызвавшего кровавые события 1 октября и 13 января». Мы подозреваем, что с той поры и до наших дней подобные вещи, а иной раз и похуже, случались и случаются в административном аппарате итальянского государства, но подтверждение их в официальном документе все-таки вызывает у нас изумление и смятение.

Итак, квестор, притом не силициец, прекрасно знал, из какого теста сделан этот Дадди, и тем не менее держал его при себе да еще доверил ему один из четырех полицейских округов, на которые был разбит город.

Уже готовился ордер на арест Дадди, когда квестор сообщил, что инспектор явился к нему (то ли узнав о том, что ему предстояло, то ли по вызову) и обещал, что если исполнение приказа

об аресте отсрочат на четыре-пять дней, то он «сможет представить важнейшие сведения относительно нападений». Он дал понять в свое оправдание, что вел двойную игру и что примкнул к заговорщикам с одной-единственной целью — раскрыть заговор и предать правосудию всех без исключения его участников: оправдание, которое, как известно, в большом ходу и в наши дни.

«После серьезных раздумий синьор советник Мари и я пришли к следующему заключению: либо инспектор Дадди говорил правду и действительно искренне старался помочь правосудию и направить его по следам подлинных виновников, используя многочисленные средства, имеющиеся в его распоряжении благодаря прекрасному знанию людей и обстановки в городе, а также довольно сомнительным связям с разного рода подозрительными личностями; либо он бесчестен и пытался посредством уловок повести действия правосудия по ложному пути. В первом случае было бы в высшей степени неосторожным прервать его расследования или проявить недоверие, которое могло бы охладить его рвение и лишить нас его содействия. Во втором же случае все сооруженное им нагромождение уловок, безусловно, рухнет при первом же серьезном разбирательстве, и в результате эти ухищрения станут неопровержимым доказательством его вины». Таким образом, инспектор Дадди получил четыре или пять дней свободы, которые испросил в обмен на обещанные «важнейшие сведения». Но в бумагах Джакозы нет более ничего, касающегося этого человека. Сопоставив все факты, приведшие 29 мая к передаче дела Дадди и Руссо в суд присяжных, можно сделать вывод, что вторая гипотеза Джакозы и Мари оказалась правильной: Дадди был обманщиком и пытался запутать следствие, обратив его, как мы бы теперь выразились, против «другого экстремизма». И здесь следует отметить, к чести Гуидо Джакозы, что теория «противоположных экстремизмов», выдвинутая сразу же после событий 1 октября, была немедленно и категорически им отвергнута с обоснованием, не утратившим своей весомости и в наши дни: «Крайняя партия, которая располагает и злоупотребляет прессой, собраниями, трибуной, всеми средствами шумихи,

партия, которая взывает к чувствам и воображению и вздымает знамя восстания, не имеет нужды прибегать к подобным методам». Это сказано о «крайней партии»*, которую он, будучи умеренным, не одобрял.

Когда оборвалась ниточка Дадди, администрация (под словом «администрация» Джакоза подразумевает королевский комиссариат, префектуру, квестуру и тюремное начальство) дала в руки Мари и Джакозы другую нить: «Сидел тогда уже восемнадцать месяцев в тюрьме по пустяковому делу забытый там некий Орацио Маттаниа, по происхождению испанец, но с детства проживавший в Палермо. Осторожный, хитрый, получивший приличное образование, ибо, как он уверяет, до революции 1860 года был школьным учителем, великолепно владеющий палермским диалектом, с достаточно скверной репутацией, чтобы завоевать доверие своих собратьев, знаток всех бандитских уловок, он был доверенным лицом заключенных; это не мешало ему, однако, оказывать секретные услуги начальнику тюрьмы, выдавая ему имена наиболее опасных каморристов, сидевших за решеткой. На нем-то и остановился выбор администрации».

Сначала его посадили к Паскуале Мазотто, но тот сообщил ему лишь, что он невиновен и что рассчитывает получить — как невинный от невинного — помощь его несчастной семье со стороны князя Сант'Элиа, потому что он, Мазотто, «невиновен, как и тот, и оклеветан, как и тот, а одинаковая невинность и клевета должны вызвать взаимное сочувствие». Мазотто также поручил Маттаниа, чтоб тот, когда его выпустят, повел семейство Мазотто к Сант'Элиа умолять о помощи и чтобы он, Маттаниа, обратился с тем же к некоему монсеньору Калькаре из архиепископства, «не приводя ему, однако, никаких доводов», кроме невинности, «потому что только на это он и возлагает

* «Крайней партией» во время борьбы за объединение Италии (так называемая эпоха Рисорджименто) была революционная республиканская Партия действия, возглавлявшаяся Мадзини; ей противостояли умеренные буржуазные либералы, сторонники воссоединения Италии на базе конституционной монархии Пьемонта.

надежду». Все это не показалось Маттаниа выражением полного доверия; такого же мнения были и начальник тюрьмы, и полиция, и советник Мари, и прокурор Джакоза. На самом же деле это было интереснейшим доверительным сообщением. В суде присяжных оно не имело бы никакого веса, но приобретало особое значение, если учитывать психологию и поведение такого человека, как Мазотто. Именно это поручение и придало особое значение последующим донесениям Маттаниа, который, со своей стороны, посчитал, что у него с Мазотто дело не вышло. Более того: это первый факт, который должен был бы склонить судейских к версии о виновности Сант'Элиа.

Возложив на человека, вышедшего из тюрьмы, где они вместе сидели, поручение повести жену и детей вымалывать помощи у князя Сант'Элиа, Мазотто добивался своей цели, не нарушая при этом неписаного закона молчания. А цель его была — посеять в князе Сант'Элиа подозрение, что Маттаниа в курсе дела и его поручение — шантаж. Та же игра — в отношении Калькары. То, что Питре* называет «чувством мафии», порождает невероятные тонкости: одной из них и был, как мы полагаем, подвох Мазотто. Формально он ни в чем не признался Маттаниа, а лишь поручил ему просить о милосердии, но изобразил это в глазах князя Сант'Элиа и монсьёра Калькары так, будто он все рассказал посланцу. Тем самым он обрек ничего не ведавшего Маттаниа на почти неизбежную расправу; но по расчетам человека такого склада, как Мазотто, те двое, даже убрав Маттаниа, конечно, спокойны не останутся, думая, что раз Мазотто проговорился, то может сболтнуть и дважды и что Маттаниа тоже мог передать сведения кому-то другому.

Но, повторяем, сам Маттаниа не стал задумываться над поручением Мазотто. Вскоре был найден способ отдалить его от Мазотто и приблизить к Каstellи.

Правило молчания, преступной круговой поруки, Каstellи, разумеется, соблюдал столь же неукоснительно, как и Мазотто;

* Питре Джузеппе (1841—1916) — итальянский филолог, автор известных работ о сицилийском фольклоре.

оба они, а вместе с ними и Кали не выказали слабости даже на месте казни (а казнены они были — любопытное и горькое обстоятельство — на гильотине, которой палачи орудовали с жестокой неловкостью).

Почему же тогда Каstellи доверился Маттаниа и рассказал ему дело во всех подробностях?

Здесь приходится прибегнуть к гипотезе: тем ключом, которым воспользовался Маттаниа, чтобы войти в доверие к Каstellи, было упомянутое Мазотто имя монсеньора Калькары. Это имя до той поры никто не связывал с покушениями; услышав его от Маттаниа и имея сведения, что тот сидел в одной камере с Мазотто, Каstellи, видимо, подумал, что Маттаниа знает больше, чем тому было известно на самом деле. Другой причины для откровенности Каstellи мы не видим. При условии, конечно, что мы не считаем ложью все то, что Маттаниа доносил начальнику тюрьмы, полиции и позже — непосредственно судебским лицам. Конечно, он не всегда говорил правду, в этом отдавали себе отчет и Мари с Джакозой; но все то, что в его рассказах можно было проверить, почти всегда оказывалось правдой. Однако здесь необходимо указать, что между протоколом, который по донесениям Маттаниа составил кавалер Фемистокле Солера 14 февраля 1863 года, и докладом Гуидо Джакозы есть значительные расхождения — не по существу фактов и составу замешанных в них лиц, но относительно источников. Согласно протоколу Солеры, Мазотто гораздо больше рассказал Маттаниа, чем это засвидетельствовано в докладе Джакозы. Но мы полагаем, что следователь и прокурор гораздо внимательнее, нежели полицейский инспектор, слушали Маттаниа, заставляли его по нескольку раз повторять свой рассказ, а также пользовались для сравнения и пояснений теми многочисленными записками, которые до этого посылал им их осведомитель.

В своем рассказе Каstellи от точки до точки повторил показания Анджело Д'Анджело и кое-что добавил. В частности, довольно явственно обрисовался персонаж, лишь бегло появившийся на процессе как свидетель защиты Каstellи и Ло Монако, — Франческо Чипри, уличный сторож, как и Каstellи. Он с

такой опаской представил алиби для обоих, что оно ничего не дало в смысле времени и ухудшило положение Каstellи из-за свидетельства о его «форменной» одежде. На вопрос председателя суда, как был одет Каstellи в тот вечер, Чипри ответил: «В плисовые куртку и штаны и шапку с козырьком».

Этот Чипри, как узнал от Каstellи Маттаниа, и был человеком, который их нанял от имени князя Сант'Элиа. Собственно говоря, Чипри не утверждал прямо, что действует от лица Сант'Элиа, он только сказал однажды, чтоб Каstellи со своей группой пришел к девяти часам утра к заставе Порта Феличе, дескать, синьоры, которые платят деньги, хотят устроить смотр завербованных. И вот когда все они стояли у Порта Феличе, проехала коляска, в которой сидели князя Джардинелли и Сант'Элиа. Каstellи увидел, что «коляска остановилась, Чипри подошел, поговорил минутку с этими синьорами и сделал жест, как бы показывая на тех, кто собрался»; потому Каstellи и пришел к заключению, что «Сант'Элиа и Джардинелли были именно теми синьорами, которые им платили».

Прокурор Джакоза комментирует: «Вывод устрашающе логичный, и против него невозможно выставить ни одного сколько-нибудь серьезного аргумента». Столь устрашающей логики, как таковой, мы здесь не видим: достаточно предположить, что Чипри хотел обмануть своих сообщников, как все это умозаключение рушится. Наемники требуют в качестве гарантии своего жалованья имени нанимателя. Чипри, который открыть его не может, прибегает к уловке. Он собирает их у Порта Феличе к тому часу, когда здесь обычно проезжает Сант'Элиа (в Палермо и сейчас все обо всех известно, а век назад — и подавно). Действительно, коляска появляется точно в срок, едет тише или даже останавливается на перекрестке, Чипри почтительно приближается, кланяется, подходит еще ближе, так что князю кажется, будто он хочет что-то сказать, но, подойдя к дверце коляски, всего лишь говорит — и делает соответствующий жест, — что он тут с друзьями греется на сентябрьском солнышке. Вот комедия и разыграна.

Важно тут, следовательно, не умозаключение, а фактическая

вероятность причастности такого человека, каким был князь Сант'Элиа.

Выжав из Каstellи все что можно, Маттаниа получил свободу. Он является в квестуру, довольно сумбурно излагает кавалеру Солере все до сего момента им проделанное и подписывается. После этого он входит в непосредственный контакт с судейскими лицами, однако, по-видимому, при условии: о каждом новом факте, который он намерен сообщать следователю и прокурору, доносить сначала квестуре для исправлений, сокращений или дополнений, которые квестура найдет нужным сделать.

Начиналась самая трудная и опасная часть работы, за которую взялся Маттаниа. Как в той игре, где надо прочертить единственную линию от одной точки к другой среди созвездий и мириад точек, судейским лицам надлежало направлять Маттаниа от одного персонажа к другому в кругу людей, названных Каstellи, да так, чтобы не нарушить последовательности и тем самым не погубить все дело.

Разумеется, игра началась с усердных визитов милосердия к несчастным семьям Каstellи и Мазотто. Потом Маттаниа идет к Чипри и сообщает, что оба приговоренных к смерти поручили ему пробудить в князе Сант'Элиа и в монсеньоре Калькаре сострадание к судьбе этих семейств, которые уже сейчас находятся в самой отчаянной нищете, а вскоре станут вдовами и сиротами. Чипри не почувял обмана, хотя и сам занимался подобным ремеслом в недавние, оплакиваемые им времена, при бурбонской полиции. А может быть, он попался на удочку именно потому, что сразу же почувствовал к Маттаниа симпатию, как к человеку того же пошиба, что и он сам. Как бы то ни было, для объяснения его доверчивости и в подтверждение того, что Маттаниа действительно сумел вытянуть у Мазотто и Каstellи нужные сведения, следует допустить, что, явившись к Чипри как друг осужденных, а следовательно и его друг, Маттаниа сообщил ему несомненные доказательства возникшей между ними откровенности.

С того момента, когда Орацио Маттаниа устанавливает с Чипри доверительные отношения, мы попадаем в настоящий

водоворот имен, встреч, «выпивонов» (то есть импровизированных пирушек, орошаемых вином), выездов за город и в соседние деревни, свиданий, нередко переносившихся или сводившихся для Маттаниа лишь к тщетному ожиданию. Как мы полагаем, недоразумения происходили из-за большой путаницы со временем: Маттаниа назначал встречи с Чипри и другими заговорщиками, те назначали встречи ему, вдобавок Маттаниа должен был держать связь с судейскими лицами; к тому же местное время не совпадало с общетальянским. В довершение всего итальянский язык, на котором осведомитель изъяснялся, был еще более исковерканным, неточным, а подчас и бессмысленным, чем язык полицейских инспекторов; вероятно, таково же было и мышление Маттаниа. Но важно другое — то, что его миссия, по-видимому, развертывалась с той нарастающей постепенностью, которая входила в планы следственных органов. Это была рассчитанная «эскалация», завершившаяся встречей на высшем уровне, куда был допущен Маттаниа.

Направляясь на это собрание (назначенное, кажется, в 7.30 вечера по итальянскому времени), Маттаниа встретился с Чипри; тот был встревожен известием, что трое осужденных уже переведены в Капеллу (все приговоренные к смертной казни проводили последнюю ночь в тюремной часовне, приобщаясь к таинству религии — одни против воли, другие в надежде найти поддержку и утешение, как это и было задумано изначально). Чипри сказал, что он боится, как бы они перед лицом смерти не проговорились, и что он «от страха уже два дня куска проглотить не может». Этот страх не помешал ему, однако, посоветовать Маттаниа, ставшему теперь начальством повыше его, уговорить синьоров, с которыми тому предстояло встретиться, предпринять действия (по-видимому, новую поножовщину) вечером в праздник Сан-Джузеппе, чтобы «подзаработать деньжат». И предупредил, «чтоб не вышло так, что я про него забуду после того, как он мне открыл все двери».

Маттаниа заверил Чипри, что он его не забудет, и выставил ему в таверне полбутылки вишневки. «Мы вышли вместе, он немного проводил меня, и мы условились встретиться у него дома в 10 часов вечера». Здесь надо отметить, что если дело было

до праздника Сан-Джузеппе, то есть до 19 марта, то известие о переводе приговоренных в Капеллу было неверным: их казнили 9 апреля в 6 часов утра на площади Консоляционе.

Расставшись с Чипри, Маттаниа вошел в архиепископский дворец. Собрание происходило в апартаментах, которые монсеньор Калькара, как первый секретарь архиепископа, занимал во дворце; эти апартаменты Маттаниа позже описал судейским лицам во всех подробностях. Присутствовало двенадцать человек. Девятеро из них были священники: второй секретарь архиепископа, настоятель церкви Сан-Николо Альбергерийского, каноник Санфилиппо и другие — всех их Маттаниа описал судейским. Среди трех «штатских» он сразу узнал князей Сант'Элиа и Джардинелли; третьим оказался кавалер Лонго.

Князь Сант'Элиа говорил с ним «суровым тоном». Переведем эту речь с итальянского языка Маттаниа на наш: «Мне о вас очень тепло отзывались Парети и отец Аньелло, и я знаю, что вы начали действовать на благо нашего дела. Но вы должны ясно понять, что я дам деньги только за выполненную работу. Я больше не желаю быть такой задницей, какой был по сю пору, истратив четыре тысячи унций, чтобы не добиться практически ничего да еще подвергнуть себя опасности. И для меня, конечно, дело кончилось бы тоже скверно, не будь у меня таких средств. Нужно действовать, но с большой осторожностью. Вы хитры и осмотрительны, но учтите, что теперь у полиции столько тайных каналов, сколько у меня волос на голове. Вы хорошо знаете, что мне пришлось вынести за эти двадцать месяцев — и без всякой вины; поэтому я поклялся или отомстить, или пусть меня расстреляют. Как бы то ни было, если вы твердо и неизменно будете на нашей стороне, вас ожидает хорошее вознаграждение».

Князь Джардинелли внес в разговор ноту трогательного воспоминания. Он сказал Маттаниа, что находит его очень постаревшим: он узнал его, так как они вместе сражались в войске Гарибальди*; Маттаниа уверял, что он был младшим лейтенан-

* Когда Гарибальди со своею «Тысячей» высадился на Сицилии, к нему примкнуло много местных добровольцев; среди них были и люди, которые вели двойную политическую игру.

том (Джакоза с его антипатией к Гарибальди, гарибальдийцам и гарибальдийскому движению решительно этому верил). Эту встречу двух бывших гарибальдийцев в архиепископском дворце, в компании девяти священников, для участия в заговоре с целью реставрации Бурбонов стоило бы запечатлеть на одной из картин Мино Маккари*, чтобы повесить ее в палермском музее Рисорджименто. На замечание князя Джардинелли Маттаниа меланхолически ответил, что его преждевременно составили «перенесенные страдания». И они перешли к разговору о конкретных вещах, то есть о деньгах для осужденных и для наемников.

Хотя Сант'Элиа заявил, что желает давать деньги только за конкретные результаты, было все-таки решено, что в следующий вторник в доме Джардинелли Маттаниа получит 700 унций для раздела между семьями осужденных: по 100 унций — семье каждого из приговоренных к смерти и по 50 — семьям осужденных пожизненно; кроме того, 180 унций предстояло разделить между командирами групп. И после новых предупреждений об осторожности его отпустили.

Маттаниа, как и обещал, пошел к Чипри в переулок Скъопеттьери, но не застал его дома. Жена Чипри перечислила все кофейни и кабаки, где можно его найти. «Я кружил довольно долго», — говорит Маттаниа, собиравшийся передать Чипри приятную весть о 180 унциях, предназначенных к разделу. Так и не найдя его, Маттаниа отправился домой писать донесение, которое мы здесь вкратце изложили и которое, попав на следующий день в руки Мари и Джакозы, преждевременно повлекло за собой волну ордеров на аресты и на обыски.

Ромуальдо Тригона, князь Сант'Элиа, герцог Желы (и как у Мандзони: и прочая, и прочая, и прочая) родился в Палермо 11 октября 1809 года. Его родителями были Доменико и Розалия Гравина, князя Палагони и владельцы так называемой «виллы чудищ» в Багерии. Как сказано в книге «Парламент Итальянского королевства, описанный кавалером Аристиде

* Маккари Мино — современный итальянский прогрессивный художник, автор полотен, посвященных Рисорджименто.

Калани», он был воспитан в «мужественном и рыцарском духе» и с самых юных лет являл «острый ум и благородную душу». В девятнадцатилетнем возрасте он уже стал председателем комиссии палермских тюрем — должность, которую, по словам кавалера Калани, исполнял с «величайшим рвением». Хотелось бы задать коварный вопрос: сколько лет он этим занимался, чтобы превратить в гипотезу наше подозрение, что это занятие дало ему возможность установить добрые связи с завсегдатаями тюрем. Затем, с 1845 по 1849 год, он был председателем «Института поощрения», который, по-видимому, был призван поощрять изобретения машин для использования в промышленности и сельском хозяйстве, но, судя по состоянию промышленности и сельского хозяйства на Сицилии едва ли не вплоть до наших дней, поощрял маньяков и бесполезные проекты. В тот же период в знак признания его художественных склонностей ему предоставили пост вице-председателя Комиссии по изящным искусствам и античности; ему приписывают, как результат его увлечения археологией, обнаружение подводной галереи, связывающей Акрадину с Ортиджей; но ввиду того, что предпринятые им раскопки ставили под угрозу прочность сиракузских фортификаций, правительство воспротивилось их продолжению. Как полагают, у князя Сант'Элиа это был единственный повод жаловаться на бурбонское правительство.

В 1848 году он был председателем городского совета Палермо*, но в 1849 году, когда Бурбоны вновь овладели Сицилией, он поплатился всего лишь постом председателя «Института поощрения». Будучи принужден бурбонской полицией отправиться в изгнание в апреле 1860 года (нам неизвестно куда), он уже в мае снова появился на Сицилии. Те своевременность и легкость, с которыми он приобрел звание изгнанника, позже сослужившее ему столь хорошую службу, конечно, могли быть и случайными, но мы думаем, что это было проявлением характерной способности, присущей его классу и особенно развитой и обостренной в нем лично: изменять все, даже самого себя,

* Во времена революции 1848 г. на Сицилии на короткий срок было установлено выборное самоуправление.

с тем чтобы не менялось ничего и всего менее — он сам. Отсылаем читателей к романам «Вице-короли» Федерико Де Роберто и «Леопард» Джузеппе Томази. То обстоятельство, что в отличие от многих сицилийских дворян Сант'Элиа был очень богат, сообщало этому особому свойству неограниченные возможности. Калани пишет: «Он много способствовал общему спасению денежными средствами». Телесфоро Сарти в своем «Биографическом словаре всех депутатов и сенаторов, избранных и назначенных с 1848 по 1890 г.» следующим образом подытоживает заслуги Сант'Элиа: «Он помогал деньгами политическому воссоединению Острова, хотя и не участвовал в движении непосредственно, и с радостью приветствовал свободу Италии». Впрочем, в 1860 году князю уже перевалило за пятьдесят, и хотя он был на два года моложе неутомимого Гарибальди, воевать и носить оружие был совершенно не способен по своему умунастроению — как личному, так и классовому. Для его класса всегда было удобнее немного раскошелиться и издали «приветствовать» то дело, за которое сражались другие. Вот так князь Сант'Элиа и приветствовал свободу Италии.

В главе XVII сочинения Раффаэле Де Чезаре «Конец одного царствования» мы находим яркое описание образа жизни палермской аристократии в период 1840—1860 годов. Тут есть одно упоминание, касавшееся князя Сант'Элиа, которое мы приводим, потому что оно может послужить объяснением любопытной детали, заставившей позже прокурора Джакозу положить голову: «Тогда не было публичных фехтовальных залов, но такие синьоры, как Антонио Пиньятелли, Пьетро Уго делле Фаваре, Эмануэле и Джузеппе Нотарбартоло и молодые Сант'Элиа, среди которых выделялся старший, элегантный герцог Джелы, позже ставший депутатом и сенатором, по очереди приглашали к себе в дом друзей, чтобы «поупражняться в фехтовании». В той жизни словно и делать было нечего, только упражняться с рапирой и саблей и участвовать в «поединках чести», как Де Чезаре именует дуэли. А честь, которую оспаривали, состояла, например, в том, чтобы накинуть мантилью на плечи Стефанины Ди Рудини, прозванной «смуглой красавицей», в те годы составлявшей пару «белокурой красавице»—

Элеоноре Тригоне, сестре Ромуальдо, позже вышедшей замуж за того самого Джардинелли, которого повстречал Маттаниа во дворце архиепископа.

Перешагнув порог пятидесятилетия и отяжелев физически, князь Сант'Элиа, разумеется, не увлекался более фехтованием. К тому же приветствия, которыми он встретил свободу Италии, пролились на него дождем постов, превративших его в самого представительного человека Палермо⁴. Недаром Сант'Элиа часто был уполномочен королем Виктором-Эммануилом II представлять его на религиозных празднествах и гражданских церемониях, что, по-видимому, не всем нравилось. Когда это впервые имело место во время процессии Непорочной Святой Девы 8 декабря 1862 года, «Предвестник» следующим образом ответил одной из газет, описывавшей восторг жителей при виде Сант'Элиа: «Если населением считать только приглашенных на банкет к Сант'Элиа, газета говорит правду; если же иметь в виду граждан всех классов, то газета ошибается... Тот, кто написал статью, решил, что граждане, обнажившие голову, приветствуют Сант'Элиа. Ничего подобного: они поклонялись Непорочной Святой Деве».

Выразив князю «надлежащее почтение», «Предвестник», однако же, недоумевал, почему короля не представлял, что соответствовало бы логике вещей, королевский комиссар, бывший королевским уполномоченным во всех делах на Сицилии. Действительно, логикой тут ничего не объяснишь; объясняется это соображениями политики: несмотря на то что Сант'Элиа был назначен сенатором уже 20 января предшествующего года, а значит, одним из первых (по категории 21-й, то есть в числе лиц, плативших 3 тысячи лир прямых налогов со своего состояния); несмотря на то что он был командором ордена святого Маврикия и несмотря на занимаемые им многочисленные долж-

⁴ Князь входил тогда во всевозможные комитеты благотворительности (при сиротских приютах, детских домах, бесплатных раздачах хлеба беднякам) и организации по улучшению общественных порядков (против нищеты), не забывая к тому же оказывать покровительство изящным искусствам (премии) и науке (принес в дар Кабинету патологической анатомии «богатый и роскошный ларь, содержащий многие ценные химические приборы, стоимостью более 3 тысяч франков»).

ности, правительство Виктора-Эммануила II не было уверено в преданности князя Сант'Элиа «новому порядку». И, как мы увидим, pour cause*. Здесь надо отметить, что из биографии князя не видно, в чем же состояли страдания, претерпеваемые им в течение двадцати месяцев, как говорится в доносе Маттаниа. Быть может, это попросту описка того, кто снимал копии с документов, которые прокурор из предосторожности и к нашему счастью захотел увезти с собой, когда покидал свой пост. Быть может, надо читать: «этих месяцев» — когда он чувствовал себя подозреваемым и поднадзорным (уже 26 ноября 1862 года «Предвестник» писал, что, по слухам, «в событиях 1 октября замешаны люди из высших кругов»). Но как мог князь добавить «без всякой вины», держа речь перед Маттаниа и перед своими сообщниками?

В ночь с 12 на 13 марта начались аресты и обыски. Слишком рано и в то же время слишком поздно. Слишком рано, потому что в руках Джакозы и Мари не было против Сант'Элиа, коего считали главой заговора, ничего, кроме доносов Маттаниа. И слишком поздно, потому что в этих доносах всплыло столько имен подлежащих аресту людей и притом таких различных политических убеждений, что было бы крайне трудно и даже нелепо представить их вместе и в согласии друг с другом как членов единого заговора с целью реставрации Бурбонов. В результате этих донесений Маттаниа назревало именно то, чего опасался и старался избежать Джакоза и с чем ему приходилось мириться. Можно было либо целиком принимать, либо целиком отвергать эти сообщения — принимать как правду или отвергать как ложь. Нельзя было обратить оружие только против князя Сант'Элиа, отцов церкви и бывших осведомителей бурбонской полиции, не вовлекая в дело лиц из «крайней партии». Маттаниа или кто-то, стоявший за его спиной, сумел втянуть в заговор «противоположные экстремизмы»**.

* Не без оснований (франц.).

** «Сицилийские официальные ведомости» (о позиции и о стиле которых можно прочесть остроумнейшие замечания в труде Раффаэле Де Чезаре «Конец одного царствования») не скрывали своего ликования: «По-видимому, заговор распространился на весь Остров, объединив пробурбонское и мадзинистское движения».

14 марта князь испустил вопль негодования и скорби: «Ваше Превосходительство, синьор председатель Сената! Непредвиденное и неприятное обстоятельство вынуждает меня обратиться к Вашему Превосходительству как уважаемому главе благородного Сената Итальянского королевства.

В ночь на 12-е текущего месяца, около часу пополудни, ко мне в дом явился следователь с орденом советника Апелляционного суда синьора Мари, уполномоченного вести следствие по процессу палермских убийц.

Ему предписывалось немедленно произвести обыск в моем доме в тот ночной час, который статья 142-я Кодекса уголовного 41-го судопроизводства исключает как правило, кроме случаев «неминуемой опасности промедления».

Силы принуждения, примененные при этом обыске, совпавшем по времени со многими произведенными в ту ночь арестами, недвусмысленное обвинение, выдвинутое в ордере против меня как главаря и зачинщика покушения на внутреннюю безопасность государства, исполнили меня чувства невыразимого изумления, которое на следующий день единодушно разделили сограждане.

Не ведая по сию пору, на каких сведениях основывался следователь, решив предпринять столь серьезное действие, и от кого исходит диковинная клевета, которую мои широко известные принципы, общественное и приватное прошлое дают мне полное право презирать, я пока могу лишь сожалеть, что злопыхателям удастся направлять по ложному пути следственные власти, каковые, по-видимому, не всегда в состоянии оградить себя от столь очевидных козней.

Поддерживаемый сознанием собственной честности и политической благонадежности, удовлетворенный неожиданными искренними и лестными заверениями в уважении со стороны не только местных властей, но также и других высших чинов, по должности своей обязанных хорошо знать здешнее население, являясь свидетелем энергичных и единодушных изъявлений живейшего возмущения жителей города этим прискорбным

посягательством, я мог бы считать, что мое самолюбие получило полное воздаяние.

Будучи, однако, удручен не столько за себя самого, сколько за политические последствия, которые влечет для страны подобный факт; глубоко обеспокоенный тем, что данный инцидент сочетается с арестами людей совершенно противоположных принципов, взглядов и нравственных устоев, что делает невозможным самое отдаленное сопряжение, я считаю своим долгом заявить протест против подобных непозволительных заблуждений, играющих на руку людям из подрывной партии, которые лелеют мысль о расправе с теми, кто всем пожертвовал, дабы с твердостью и постоянством защищать благородное дело.

После всех этих печальных событий я считаю своей обязанностью сообщить о происшедшем Вашему Превосходительству не только для того, чтобы Вы в своей высокой мудрости приняли в интересах общества те меры, каковых требует серьезность положения, но и дабы Вы могли точно определить, не оскорблены ли в моем лице высокие прерогативы благороднейшего собрания, к каковому я имею честь принадлежать».

Председатель Сената — непонятно по какой причине, поскольку Сант'Элиа сообщил, что обыск произведен согласно ордеру судебного следователя (быть может, он желал оттянуть время в официальной инстанции, а пока осведомиться в официозных), — посылает копию этого письма министру внутренних дел и просит проинформировать его об обстоятельствах дела. Министр внутренних дел отвечает, что ему ничего не известно и что дать сведения может только министр — хранитель печати, кого он в свою очередь запрашивает; «по получении сведений я немедленно сообщу их Вашему Превосходительству». Председатель Сената в нетерпении сам пишет министру юстиции. И получает скорый ответ: полным отчетом о расследовании, которое привело к обыску в доме Сант'Элиа, министр не располагает, но в то же время «рад сообщить, что обыск, совершенный в доме князя, не дал сколько-нибудь убедительных результатов».

Подобной радости советник Мари и прокурор Джакоза не

испытывали. Обыск действительно не принес результатов, кроме одной детали, однако она никаким доказательством считаться не могла.

При обыске следственные органы заручились помощью карабинеров: к этой предосторожности всегда прибегают судебские чины, стремящиеся к соблюдению секретности и точного выполнения своих распоряжений. И карабинеры выполнили их столь неукоснительно, что пересчитали окна палатцо Сант'Элиа и снаружи и изнутри. Выяснилось, что изнутри было одним окном меньше, из чего естественно следовало, что одна из комнат замурована. Они стали простучивать прикладами ружей все внутренние стены, прислушиваясь к их звучанию, сдвигали мебель. И наконец обнаружили за одним из шкафов свежую кладку в бывшем дверном проеме.

Они разломали ее, и перед ними предстала картина в духе сюрреалистической живописи: большая комната с расставленными словно для спектакля стульями, перед ними — манекен, увешанный бубенчиками, а в спине его — кинжал, весьма схожий с тем, что застрял между первым и вторым позвонками у Ди Марцо.

Ни судебские лица, ни мы, со своей стороны, не сделали из этого вывод, что князь — пользуясь выражением, которое приписал ему Маттаниа, — был «такой задницей», что водил в свой дом завербованных убийц упражняться в поножовщине. Быть может (напомним извлечение из книги Де Чезаре), эта комната и этот манекен предназначались когда-то для упражнений в фехтовании, и бубенчики давали сигнал об уколе, хотя, по нашим сведениям, манекены с бубенчиками использовались при обучении карманников, а не фехтовальщиков. Но этот кинжал, эта замурованная дверь?.. Тщетно ломали над этим голову следственные органы; они не могли потребовать объяснения у князя, который презрительно замкнулся в молчании, пользуясь сенаторской неприкосновенностью. Они могли обыскать дом в обход всяческих запретов, опираясь на мотивировку «неминуемой опасности промедления» — опасности, что улики в любой момент могут быть скрыты или уничтожены. Но они не имели права ни арестовать, ни допросить князя без специального

решения Сената. Такого решения так и не последовало, зато на обоих судебных лиц посыпались требования объяснить свои действия, а также упреки и обвинения.

В более мягкой форме и несколько позже были затребованы объяснения и высказаны упреки со стороны министра — хранителя печати относительно обысков в апартаментах монсеньора Калькары и священников Кафанио (иногда в документах стоит: Казанио) и Аккашины в архиепископском дворце. Несомненно, архиепископ жаловался министру на эту акцию, саму по себе оскорбительную и несправедливую, и на ту грубость, с которой карабинеры и солдаты ее проводили.

Джакоза и Мари, пославшие с обыском к Сант'Элиа других чиновников своего ведомства, на одновременном обыске в архиепископстве пожелали присутствовать сами. Таким образом, Гуидо Джакоза пишет министру — хранителю печати как очевидец:

«В половине первого пополудни синьор Мари, советник Апелляционного суда, вместе со мною явился к главным воротам архиепископского дворца в сопровождении вооруженного отряда, задачей которого было занять все входы и выходы и наблюдать внутри помещения со множеством обширных комнат, чтобы ничего не было вынесено тайком. Мы долго стучались (от шести до восьми минут), требуя именем закона, чтобы нам отперли. Никто не показался. Ни одно из многочисленных окон архиепископства от первого до верхних этажей не приоткрылось; между тем мы знали, что там есть швейцар и много слуг. Тогда советник Мари по согласованию со мной дал приказ силою открыть ворота — у нас были основания предполагать, что столь упорное молчание имеет целью либо оттянуть время и спрятать кое-какие документы, либо, что более вероятно, принудить власти к крайним мерам, дабы потом изобразить из себя жертв и получить предлог для обвинения доверенных лиц правительства в грубости. Когда ворота были уже почти взломаны, внутри дома послышался голос, спросивший: «Кто там?» Ему ответили: «Правосудие, отворите именем закона», и солдатам немедленно было приказано приостановить действия. Но по истечении определенного времени был дан приказ

продолжить почти законченное дело. Сорвав с петель одну сторону ворот, мы вошли во двор, погруженный в полную темноту. Несколько раз мы звали и окликали людей, никто не появился, никто не отозвался. Мы зажгли принесенные с собою два факела, увидели парадную лестницу, поднялись по ней и оказались на площадке перед запертой дверью. После долгого стука наконец явился старик, отпер дверь и проводил нас в просторную переднюю. Здесь мы потребовали от него показать, во-первых, апартаменты монсеньора Калькары, во-вторых — священника Кафанио, в-третьих — священника Аккашины, ректора семинарии, примыкающей к архиепископству. Понадобилось некоторое время для того, чтобы заставить этого человека, единственного, кто явился на стук и зов, повиноваться нашим требованиям. В конце концов он провел нас в апартаменты монсеньора Калькары, находящиеся во втором дворе дворца. Разумеется, мы оставили караульных у входов и в ряде комнат, не сумев, однако, охватить всего помещения, учитывая его огромные размеры и совершенно незнакомое нам расположение покоев. Чтобы проникнуть в апартаменты Калькары и Аккашины, нам пришлось выломать еще несколько дверей, ибо нам упорно их не открывали, а ведь шум при взломе ворот должен был бы перебудить всех. В апартаментах священника Кафанио не пришлось прибегать к подобным мерам, так как нам открыли слуги... Ночной обыск — вообще прискорбный факт, а человек раздраженный всегда склонен преувеличивать неприятности. Но с нашей стороны и в отдаваемых распоряжениях, и в той части исполнения, которая ложилась на нас, мы действовали как честные слуги правосудия, как люди воспитанные и цивилизованные».

Понятно, что ничего бросающего тень на монсеньора Калькару и священников Кафанио и Аккашину найдено не было. Да и как могло быть иначе, если дворец оказался для судейских настоящим лабиринтом, а монсеньоры, священники, семинаристы и челядь получили достаточно времени, чтобы припрятать или уничтожить все компрометирующее их. Искали бумаги — но ведь за десять минут можно ликвидировать целый архив. Поэтому монсеньор Калькара, которому, кроме обыска, пред-

стоял еще и арест, выказал почти приветливую безмятежность, «радуясь, что при таком несчастье оказался в руках воспитанных и культурных людей».

Да, действительно, трое священников, арестованные в архиепископском дворце, остальные, арестованные в своих приходах, кавалер Лонго, Чипри и Парети, взятые на собственных квартирах, — словом, все арестованные в эту ночь нашли среди полицейских и тюремной стражи тонко воспитанных людей, доставивших им удовольствие провести время в приятном и достойном обществе. «Вы знаете, — писал Гуидо Джакоза другому судейскому лицу, вероятно ища в нем понимания и поддержки, — что сразу после ареста все задержанные были временно помещены в крепость Кастелламаре и посажены там в одну камеру, где оставались целые сутки в полном и свободнейшем общении между собой с неограниченной возможностью сговориться». Перечислив далее все промахи, препятствия и случаи сообщничества, он добавляет: «Все это Вам известно, и, следовательно, Вы можете составить себе ясное представление об огромных трудностях — и по сути и в деталях, — испытанных нами при выполнении наших тяжелых обязанностей. Мы готовы принять на себя всю ответственность, но надеемся, что все честные люди, оценивая степень этой ответственности, сумеют понять бесконечные затруднения, с которыми нам приходилось сталкиваться, а также скудость средств, имевшихся в нашем распоряжении, чтобы преодолеть эти затруднения». Уже этот разговор в прошедшем времени в сочетании с будущим временем, когда «все честные люди» будут судить о деле, которое автор письма еще сегодня пытается распутать, которое еще надеется разрешить по справедливости, — первый признак отчаянья.

Несвоевременность мер, принятых Джакозой и Мари — слишком рано и одновременно слишком поздно, — была обусловлена настояниями квестуры. «Советник Мари, чье мнение я в целом разделял, считал, что надо еще повременить, потому что, доверяясь обещаниям Маттаниа, мы надеялись получить от него довольно важные документы. Но квестура просила нас покончить с промедлением, доказывая, что в стране создалось

очень опасное положение. Официальные донесения, поступавшие из разных мест (в квестуру), предупреждали о назревающих волнениях; распределялись боеприпасы, то тут, то там появлялись вооруженные банды лиц, уклоняющихся от воинской повинности; если можно так выразиться, слышался рокот надвигающейся бури; ощущалась атмосфера близкого восстания. В четверг утром 12-го этого месяца я и советник Мари занимались подготовкой многочисленных ордеров на арест и обыск, когда к нам поступило новое донесение квестора, доставленное инспектором кавалером Солерой. В нем содержались факты, уличавшие некоторых признанных вождей Партии действия и Автономистской партии*. К донесению были приложены три документа: письмо генерала карабинеров, анонимное письмо, адресованное префекту и содержащее имена и довольно серьезные разоблачения, и список из десяти человек, чей арест представлялся необходимым. Этим и объясняется то, что в довольно просторном списке арестованных фигурируют имена людей, принадлежащих к столь разнородным партиям». Между упомянутыми партиями было лишь одно возможное связующее звено — князь Джардинелли, которого в силу его «гарибальдийского прошлого» (он был одним из сотоварищей Гарibaldi в последнем восстании на Сицилии и участником битвы при Аспромонте**) можно было считать «принадлежащим к крайнему крылу Партии действия». Но Джакоза и Мари не обратили особого внимания на возможность этого посредничества, хотя такое предположение было не совсем бессмысленно в тот момент, когда между Парижем и Неаполем подготавливалась совершенно невероятная встреча —

* Партия действия выступала в 1859—1860 гг. под лозунгом «Италия и Виктор-Эммануил», крайним крылом этой партии была оппозиция, так называемые «непримиримые республиканцы». Автономистская партия Сицилии требовала независимости Острова.

** 19 июля 1862 г. Гарibaldi высадился на Сицилии, чтобы подготовить экспедицию против папского Рима. Переправившийся затем на континент отряд Гарibaldi, к которому примкнули многие сицилийцы, был 27 августа 1862 г. разбит у горы Аспромонте пьемонтскими войсками, преградившими ему путь на Рим.

встреча бурбонской партии с партией Мюрата*.

Среди арестованных, принадлежавших к «крайней партии», был Джованни Раффаэле, медик, редактор газеты «Политическое единство» (чуть позже, но по ордеру, датированному тем же числом, был арестован также бывший гарибальдийский генерал Джованни Коррао). В 1883 году, будучи уже сенатором Итальянского королевства, Раффаэле опубликовал том «Исторических разоблачений», в которых подробно рассказывает о своем аресте и тюремном заключении, обвиняя во всем квестора Болиса. По словам Раффаэле, все это было подстроено — и оплачено из секретных фондов — квестором по дьявольскому наущению Ла Фарины. Всё без исключения: нападения с кинжалом, признания Д'Анджело, доносы Маттаниа. Прокурор Джакоза — сознательно или будучи обманутым — оказался с квестором заодно. Советник Мари, в отличие от него, не был убежден в правильности своих действий и был бы гораздо более осмотрителен, считает Раффаэле, если бы ему не приходилось подчиняться Джакозе.

В отношении Мари Раффаэле полагается лишь на впечатление, вынесенное из личных контактов: формальная любезность, проявленная Мари к нему на допросах, поблажки, которые делал ему для смягчения тюремного режима, *ponchalance*** (вероятно, он ее и не скрывал), с которой вел расследование, касавшееся «крайней партии». Однако, если бы у Раффаэле были такие же частые контакты и с Джакозой, у него сложилось бы точно такое же впечатление. Мари, как мы знаем из множества подробнейших донесений, был во всем солидарен с Джакозой. Что касается квестора Болиса, то можно согласиться с Раффаэле в том, что тот искусственно раздул дело, втянув в него приверженцев «крайней партии»; но ему невозможно было состряпать все из ничего — поножовщину, затем арест и признания Д'Анджело, появление и доклады Маттаниа. Подозрение, что все было подстроено квестурой, могло возникнуть

* Мюрат Иоахим (1767—1815) — наполеоновский маршал; был в 1808—1814 гг. неаполитанским королем. Потомки Мюрата неоднократно пытались восстановить в Королевстве обеих Сицилий свою династию.

** Небрежность, беспечность (*франц.*).

и у прокурора Джакозы — действительно, в какой-то момент оно у него мелькнуло («Не может ли быть так, что вся история — дело рук самой администрации, которая, чтобы выслужиться перед правительством, разыграла эту трагикомедию и день за днем диктовала своему послушному агенту донесения в выгодном для него — sic! — свете?» Это противное sic, коим профессора испещряют публикации документов, мы позволили себе поставить, дабы подчеркнуть многозначительный ляпсус: Джакоза говорит об администрации, но бессознательно относит это к «нему», к квестору Болису). Но у нас такого подозрения возникнуть не может. Если бы Раффаэле мог прочесть документы, которыми мы располагаем, он бы, конечно, не переменял мнения о квесторе Болесе в части несправедливого преследования и тех неприятностей, каковые ему пришлось из-за этого претерпеть. Но он не стал бы обвинять квестора в том, что тот томил в тюрьме столь же невиновных каноника Патти и иже с ним, кого этот последний в стихах на диалекте, приведенных в книге Раффаэле, объявляет жертвами Маттаниа, Болиса и двух судейских — «то ль жуликов, то ль простофиль».

Здесь надо отметить, что и каноник в своих виршах, и сам Раффаэле постоянно именуют Маттаниа «Матрачиа». Это было бы пустячной ошибкой, если бы Раффаэле не старался столь упорно представить иные данные о семье и прошлом Маттаниа, ручаясь за их точность, в противоположность якобы фальшивым сведениям следственных органов. Дело не в том, происходил ли Маттаниа из приличной семьи и было ли его прошлое незапятнанным. Но вся эта информация, которую Раффаэле разыскал приватным путем, — не относится ли она действительно к некоему Матрачиа? Если к этому добавить, что, как уверяет Раффаэле, шпиона на самом деле звали не Орацио, а «почти наверняка» Джузеппе, то получается явная несообразность: неуверенность в имени — и такая уверенность в родне и прошлом Матрачиа — Маттаниа. Этот последний, безусловно, был прескверный субъект — и Джакоза, как мы могли убедиться, это знал. Но иной раз бывает, что и скверные типы свидетельствуют истину и за эту истину расплачиваются так, как им никогда не пришлось бы поплатиться за ложь.

Обвинения, с которыми Раффаэле выступил против квестора Болиса, едва выйдя из тюрьмы, и которые повторил в своей книге двадцать лет спустя, противоречат — даже если оставить в стороне документы — логическому ходу рассуждений: ведь если Болис действительно все это подстроил, то и вся махинация была бы с самого начала направлена против «крайней партии». На самом же деле бумаги, где о ней идет речь, были лишь в самый последний момент приобщены к делу бурбонской партии, причем столь поспешно и неумело, что Джакоза и Мари менее чем через месяц освободили всех арестованных из Партии действия и Автономистской партии и ликвидировали все «достижения» полиции в этом вопросе. Впрочем, Раффаэле в какой-то момент позволяет себе обронить замечание, что в событиях 1 октября «общественное мнение не без оснований обвиняло прогнившую полицию, тесно связанную с пресловутым патриотическим обществом»; точно так же считал и Гуидо Джакоза, коль скоро «пресловутое патриотическое общество», упоминаемое Раффаэле, и было то самое, где предводительствовал Сант'Элиа. Раффаэле, по-видимому, кивает именно в эту сторону: ведь недаром он не выражает относительно обыска в доме Сант'Элиа ни негодования, ни удивления, что он неизменно делает по поводу ошибок и злоупотреблений полиции и судебных органов, слепо повиновавшихся, по его мнению, адским замыслам Ла Фарины. Впрочем, ему было бы трудно подобрать хоть одну причину, по которой Ла Фарина стал бы устраивать Сант'Элиа эту полицейскую и судебную западню, в то время как существовало множество поводов к тому, чтобы побудить Ла Фарину выручать, покрывать князя. (По мнению одного из наших друзей-журналистов, история Италии от объединения до наших дней в большой степени обусловлена соперничеством, явной или тайной враждой между сицилийцами. Начало положила вражда между Ла Фариной и Криспи; вражду между генеральным прокурором Кармело Спаньоло и начальником полиции Анджело Викари* можно считать, видимо, последней. Мы хотим сказать — самой недавней, насколько нам известно; но возможно, что существуют и другие,

* Спаньоло был убит в наши дни мафией, не без участия полиции.

про которые мы не ведаем, но плоды которых сейчас ощущаем.)

В «Сицилийских официальных ведомостях» от 4 апреля 1863 года читаем: «Вчера вечером его превосходительство князь Сант'Элиа, сенатор Королевства, по специальному полномочию Его Величества короля присутствовал в королевской Капелле «Палатина» на скорбном богослужении, каковым церковь чтит великое самопожертвование, совершенное на Голгофе. После полудня того же дня его сиятельное превосходительство сопровождал кортеж со статуей Пресвятой Богоматери Соледад, который по священному обычаю проследовал по улицам города. К вечеру процессия возвратилась к церкви тринитариев* на площади Витториа, где постоянно хранится святое изображение. В шествии участвовали префект провинции и мэр города... Эта печальная церемония совершилась при многочисленном стечении народа и в полнейшем спокойствии».

Церковь тринитариев была и остается до сих пор испанской. Приходский священник в ней — испанец, он подчинен, если память нам не изменяет, епископству Леона**. Поэтому там особо чтут мадонну Соледад. Для нас слово «соледад»*** вызывает ассоциации, имеющие мало или совсем ничего общего со страданием: это имя носят черноокие и чернокудрые женщины; «la música callada, la soledad sonora», — писал Антонио Мачадо****. Yo Nuestra Señora de la Soledad, la Virgen de la Soledad, Maria de la Soledad***** — это, по-нашему, Богоматерь Скорбящая. И изображается она у нас, как и в Испании, с кинжалом в груди, а иногда с семью кинжалами, расположенными полунимбом, — реалистическая метафора, возвещающая о распятии сына, а также о грехах и пороках людских, которые ранят мадонну. И как правило, у кинжала, вонзенного в грудь статуи из гипса или папье-маше, — серебряное лезвие, позолоченная

* Тринитарии — один из католических монашеских орденов.

** Леон — крупная провинция в Испании.

*** Соледад — (исп.) «одиночество».

**** «Музыка молчащая, одиночество звучащее» — строка из стихотворения испанского поэта Антонио Мачадо (1875—1939).

***** Богоматерь Соледад, Пресвятая Дева Соледад, Мария Соледад (исп.).

рукоятка — таким можно заколоть и взаправду; часто, если клинок длинен, видно, как он подрагивает в такт шагов, когда несут статую.

«Специальное полномочие» представлять короля в этой процессии было, следовательно, для князя Сант'Элиа триумфом над теми, кто его обвинял, и вместе с тем оно явилось в глазах палермцев своего рода возмездием. При виде того, как он скорбно шествует за статуей, в чьей груди кинжал торчит точно так, как он торчал у бедняги Ди Марцо меж первым и вторым позвонками, в толпе наверняка без устали шепотом обменивались ироническими репликами, которые докатывались до ушей князя и его друзей, словно волны прилива. Думается, отсюда нарочитость, с какой газета подчеркивала, что процессия проходила совершенно спокойно: совершенного спокойствия как раз и не было, хотя бы из-за этого всеобщего непрерывного ропота. Мы полагаем, что это была скорее ирония, чем негодование. В любом другом месте вакуум правосудия был бы восполнен возмущением, а здесь, как всегда, его заменили безобидными прибаутками, обширный список которых можно найти в романе Джованни Верги «Семья Малаволья»*.

Кастелли, Кали и Мазотто, которых по-прежнему защищали адвокат по делам неимущих и адвокат по назначению, получили на свою жалобу отказ в кассационном суде, утвердившем приговор суда присяжных. Им предстояло перейти в Капеллу, что вызывало большие опасения у Чипри и его сотоварищей, сидевших теперь в тюрьме и боявшихся, что перед казнью смертников охватит слабость или злоба и побудит во всем признаться. Говорят, что осужденные действительно признались во всем, однако лишь священникам на исповеди. Один Кастелли заговорил на эшафоте, но только затем, чтобы заявить о своей невинности. Есть основания полагать, что такой человек, как он, говорил это с полным убеждением, потому что на самом деле ни над кем ножа не заносил. То есть был невинен в той же мере, что и пославшие его.

* Этот роман Верги (1881) повествует о бедственной участи рыбацкой семьи, которой приходится смириться с разорением, насилием, беззаконием.

Словом, дела в этом мире шли так, как и всегда: Каstellи, Ка-ли и Мазотто вступали в Капеллу приговоренных к смерти, князь Сант'Элиа вступал в королевскую Капеллу «Палатина» как представитель Виктора-Эммануила II, короля Италии. «Именем Виктора-Эммануила II, божьей милостью и волею народа короля Италии» — смертный приговор уличному сторожу, продавцу хлеба и позолотчику; «специальное полномочие» представлять короля — князю. Трое были судимы и приговорены к смерти только по показаниям Д'Анджело, но эти же показания ничего не стоили против князя Сант'Элиа.

Смятение того, кто потребовал и добился для этих троих смертной казни, проступает теперь в официальных бумагах, словно трещина в стене, готовой обвалиться. В докладах Гуидо Джакоты, ранее бесстрастных, теперь появляется что-то лихо-радочное. «При гораздо менее веских доказательствах», чем те улики, на основании которых был выдан ордер на обыск у князя Сант'Элиа, пишет он, были арестованы и осуждены «эти двенадцать несчастных», трое из них «в скором времени заплатят страшную дань людскому правосудию». «Мы не считались с положением всех этих лиц, с их прошлым, званиями и характеристиками; мы забыли князя и монсеньора, носильщика и сторожа, а помнили лишь, что все они равны перед законом, что против них существуют равные улики и улики эти, по нашему разумению, были достаточно тяжкими. Следовательно, ко всем надо было относиться одинаково, и если мы помнили, что среди подозреваемых был сенатор королевства, то лишь затем, чтобы уважать его прерогативы в самых точных пределах, определяемых Статутом*... Улики существовали и были, по нашему мнению, неоспоримо важными и вескими. Более того: улики против князей Сант'Элиа и Джардинелли были более внушительны и очевидны, чем в отношении всех прочих обвиняемых, потому что этих последних уличали лишь признания Анджело Д'Анд-

* Статут — конституция Объединенного итальянского королевства.

жело. Задача определить, в какой мере репутация, которой пользовался и пользуется князь Сант'Элиа, перевешивает имевшиеся у нас в руках улики, не могла долго оставлять нас в нерешимости. Репутация не уничтожала фактов, каковые мы должны были считать и считаем верными. Между фактами и добрым именем мы обязаны были выбрать первое, а не второе; первое было, на наш взгляд, истиной, второе могло быть узурпировано. Коль скоро это мнение утвердилось в нашем сознании, мы должны были действовать против князя Сант'Элиа таким же образом, как и против всех других, останавливаясь лишь там, где нельзя было заходить дальше, не нарушая Статута. А Статут не запрещает в отношении сенатора ни открытия следствия, ни всех тех средств, которые являются частью следственной практики, в том числе и домашнего обыска; он запрещает лишь арест...»

Сенат, создавший комиссию для рассмотрения этого дела, мог бы снять этот запрет, но он не только не снял его, но вдобавок торжественно осудил факт обыска (признав, однако, что прерогативы Сант'Элиа как сенатора нарушены не были). Маттаниа обругали «шпионом» и «негодяем» (негодяй, разумеется, потому что шпион; отсюда видно, что отношение сенаторов Итальянского королевства к шпионам не слишком отличалось от отношения к ним «мафиози из Викариата» в комедии Ридзотто и Моска, которая как раз в тот год начала свой путь почти векового сценического успеха); представителей судебного ведомства называли «невежественными», а улики и следствие — «ветряной мельницей». Стоило бы полностью привести отчет о заседании Сената от 24 марта и заключительный доклад 12 мая сенатора Вильяни, председателя комиссии, избранной на этом заседании.

Но поскольку этот доклад был в значительной степени предвосхищен дискуссией 24 марта, мы ограничимся цитатами из некоторых выступлений. В частности, приведем отрывок речи сенатора Вильяни, который, взяв слово первым, был, вероятно, поэтому и назначен председателем комиссии: «Прежде всего я хочу откровенно сказать, что, лично зная людей, принимав-

ших участие в этом юридическом акте, я не могу допустить и тени подозрения, что их намерения не были абсолютно чисты и прямы; но бывают временами случаи, о синьоры, когда представители судебных властей, как и люди любого другого звания и положения, к несчастью, платят дань человеческой слабости и впадают в заблуждение. Я не хочу предвосхищать ничьих суждений...» Но одно он уже предвосхитил: суждение министра юстиции Пизанелли, именовавшегося также хранителем печати. «Синьоры, мне понятна скорбь, которую испытал князь Сант'Элиа, — не в тот момент, когда увидел, что дом его окружен полицией, а когда подумал, что против него могут выдвинуть обвинение в измене. Против него, который одним из первых приветствовал новое итальянское королевство, против него, кто с достойным постоянством всегда держался в стороне от крайних партий и всегда был неподкупным приверженцем савойской монархии и национального дела... Я понимаю, о синьоры, какой глубокой горечью он проникся, когда узнал, что стал объектом судебного следствия. Но я полагаю, синьоры, что ту же горечь испытали вместе с князем Сант'Элиа все те, кого объединяют с ним принципы преданности савойскому дому и национальному делу, и я открыто и искренне скажу, что и сам я разделяю эту горечь». Сенаторы выпускают единодушный крик «браво», и сенатор Вильяни снова берет слово, чтобы выразить министру благодарность: «Я чрезвычайно рад, что побудил столь авторитетную особу к заявлению, которое он сделал в отношении нашего уважаемого коллеги, князя Сант'Элиа». А сенатор Ди Ревель добавляет: «Я не испытываю беспокойства относительно положения нашего уважаемого коллеги, князя Сант'Элиа. Все те, кто его знает, кто слышал его выступления, совершенно не в состоянии поверить...» Сенатора Ди Ревеля беспокоит другое — «права, достоинство и долг Сената», хотя при этом он решительно пренебрегает долгом, обязывающим его не вмешиваться в ход незаконченного следствия и не объявлять невиновными людей, коих судейские лица считают виновными.

После заседания 24 марта и образования комиссии, которая

должна была рассмотреть дело, Сенат ожидал доклада министра юстиции. Тот в свою очередь ждал доклада Джакозы. Прокурор послал его еще 15 марта, однако министр не получил его ни 24 марта, ни позже. Доклад исчез. Для его исчезновения, несомненно, существовала двоякая причина: во-первых, намерение точно разведать, какими именно данными располагает Джакоза, с тем чтобы принять необходимые контрмеры; во-вторых, расчет еще более настроить министра против Джакозы и Мари из-за этого доклада, никак не поступавшего по назначению. У кого же, спрашивается, были основания и возможности перехватить и уничтожить этот доклад?

Джакоза принялся писать его заново, так как не сохранил копии исчезнувшего, который, должно быть, считался секретным, предназначенным лично министру, и поэтому копия его не подлежала хранению в архивах. Он принялся писать его заново, но уже в ином настроении, нежели когда составлял первый, «необъяснимо» пропавший (наречие это обычно употребляется в случаях, когда имеется очевиднейшее объяснение). Он уже в общих чертах знал, что именно говорилось на заседании Сената 24 марта, и видел последствия — «специальное полномочие» князю Сант'Элиа представлять короля на религиозных ритуалах в страстную пятницу. У прокурора, следовательно, было настроение человека, потерпевшего поражение, воспринятое не только как личное, но и как поражение закона, правосудия, «священного догмата равенства».

С пронизательностью отчаяния резюмирует он все факты, анализирует их многозначимость и сомнительность, мотивирует и убедительно оправдывает свой выбор, свои решения. Особые усилия он прилагает, доказывая, что сведениям Маттаниа следует доверять, поскольку Джакозу обвинили прежде всего в том, что он поверил этому человеку. Никто не попрекал прокурора тем, что он поверил Анджело Д'Анджело (ему поверили затем и суд присяжных, и кассационный суд), а ведь Д'Анджело и по своему прошлому, и по происхождению, и по образу жизни был ничем не лучше Маттаниа; последний даже имел перед Д'Анджело то преимущество, что по мере возможности доказал правдивость своих донесений. Кроме того, ведь не сам

Джакоза нашел в Маттаниа агента, достойного доверия; гарантией его надежности был тот факт, что в распоряжение следственных органов Маттаниа направила администрация, то есть директор тюрьмы и квестор, ранее уже прибегавшие к его услугам. Добавим, что директор тюрьмы, от которого исходило предложение использовать Маттаниа, был, по свидетельству Джованни Раффаэле, человеком совсем иного склада и иных идей, чем квестор Болис.

Но даже ручательства администрации было недостаточно для того, чтобы рассеять недоверие прокурора; это сделали, и то не до конца, сами донесения Маттаниа. «Невозможно было пренебречь этими донесениями, поразительными по самому их характеру, по разнообразию и важности сообщаемых фактов, большому их правдоподобию, очевидной достоверности их источников, естественности диалогов, связности событий и удивительной согласованности между ними; по обилию бесконечных подробностей и мелких сведений, касающихся доподлинно известных нам фактов, которые Маттаниа мог узнать только из доверительного признания тех, кто об этом был хорошо осведомлен; все эти элементы в целом производят глубокое впечатление и непреодолимо убеждают еще прежде того, как разум приступает к детальному анализу».

Это говорилось о донесениях, которые Маттаниа посылал еще из тюрьмы. Когда же он после освобождения стал сообщать о своих встречах и своих успехах в среде заговорщиков, то Джакоза и Мари имели возможность проверять и анализировать его донесения. Возможность ограниченную, если можно так выразиться, внешнюю, но, с точки зрения их обоих, достаточно приемлемую.

При условии доверия к квестуре действенным способом контроля была слежка. За Маттаниа ходили по пятам двое полицейских агентов в штатском, и их отчеты сопоставлялись с его донесениями. По-видимому, они не всегда совпадали, что в итоге придает еще большую достоверность обнаруженным совпадениям: устраняется подозрение в том, что донесение шпиона и отчет агента, который следил за ним (или должен был следить), составлялись одновременно в одном и том же

месте и диктовались одним и тем же лицом.

Разумеется, прокурор и следователь доверяли квестуре, по крайней мере — этой слежке и сведениям о действиях Маттаниа и о людях, с которыми он встречался. В том, что касается бурбонской партии, можем здесь довериться полиции и мы, учитывая, однако, что квестор Болис изо всех сил старался впутать в это дело Партию действия и совершенно исказить его политический характер, выставляя генерала Коррао и доктора Раффаэле главарями заговора, где, по мнению Джакозы и Мари, верховодили князя Сант'Элиа и Джардинелли. Вместе с тем мы не отрицаем, что Коррао и другие сторонники «крайней партии» вели заговорщическую деятельность. Они ее вели, по всей вероятности, в среде городского простонародья, местной каморры и сельской мафии, полагаясь на те самые элементы, на которые рассчитывала и бурбонская партия; такое всегда случается с «крайними партиями» на Сицилии, да и повсюду, где происходит «сицилианизация», то есть социальный распад по древнему и устойчивому сицилийскому образцу.

Среди материалов слежки, подтверждающих правдивость сообщений Маттаниа, Джакоза особо выделяет сведения об одном из вечеров после 3 марта (дата не уточнена) и о вечере 8 марта. «3 марта или, точнее, вечером этого дня некто Гаэтано Парети впервые привел Маттаниа к священнику прихода Альбергерия дону Аньелло. С того вечера и вплоть до дня, когда произошел описываемый ниже случай, Маттаниа ежедневно посещал дом этого священника, преимущественно по вечерам. В один из этих вечеров квестор приказал инспектору, бригадирю и полицейскому осторожно последить за этим домом, чтобы проверить, действительно ли Маттаниа ходит к дону Аньелло (из чего следует, что наблюдение не было постоянным). В определенный час все трое увидели Маттаниа, который, напевая, подошел к дому священника Аньелло и постучался в дверь. Ему открыли, Маттаниа вошел, пробыл в доме минут двадцать, затем вышел и продолжал свой путь. На следующий день в очередном донесении Маттаниа сообщил о своем визите к Аньелло и указал час, в точности совпадающий с наблюдениями полицейских... Эти же агенты после ухода Маттаниа

продолжали, выполняя приказ начальства, следить за домом священника Аньелло и увидели позже, как оттуда вышли девять священников, закутанных в плащ, с таинственным и беспокойным видом».

Что касается вечера 8 марта, то здесь загадочно вела себя полиция: агенты проследили только за Маттаниа, который вошел во дворец архиепископа в 19.30 и вышел оттуда в 20.30, но не обратили внимания на прочих входивших и выходивших оттуда людей; эта рассеянность кажется нам преднамеренной.

Еще один факт, приводимый Джакозой в подтверждение правдивости докладов Маттаниа: «В своем донесении № 12, содержащем отчет за 1 и 2 марта, Маттаниа, которого утром 2 марта Чипри познакомил с Антонино Парети, рассказывает, что вечером того же дня он поехал в коляске в дом некоего Арены в сопровождении двух сыновей Парети. Там к ним присоединился некий Бартоло Пагано. Оттуда они впятером уехали, прихватив ружья. Проехав Виллабате, они направились в сторону Мизильмери. В одном месте они остановились и, выйдя из коляски, углубились в рощу, где оказалось более шестидесяти вооруженных людей, к которым Пагано и Газтано Парети обратились с зажигательными речами, подстрекая их в день 19 марта (день Сан-Джузеппе, о котором упоминал Чипри) двинуться в Палермо... Все это происходило ночью 2 марта и на следующий день стало нам известно из доклада Маттаниа. Так вот, через несколько дней были получены аналогичные донесения из компетентных источников (карабинеры) о том, что в окрестностях Мизильмери действует вооруженная банда в составе более пятидесяти человек, под предводительством некоего Оливери».

В связи с «неким Ареной», описываемым Маттаниа как человек «непомерно большого роста», отметим здесь одну частность, свидетельствующую о том, с какими трудностями сталкивался Джакоза в своем расследовании. На его первый запрос при проверке этих сведений полиция ответила, что встреча, о которой рассказывает Маттаниа, была невозможной, ибо упомянутый Винченцо Арена «непомерно большого роста» уже полгода как сидит в тюрьме. Но когда прокурор стал

настаивать — предположив, что либо Арена нашел способ выходить по ночам из тюрьмы и возвращаться в камеру утром («случай не такой уж невероятный в этих краях, где в тюрьмах безраздельно царствуют коррупция и каморра»), либо Маттаниа встречался с братом Винченцо, Николо Ареной, — то внезапно выяснилось, что Винченцо в тюрьме не сидел. Уже одного этого факта, полагаем, достаточно, чтобы утвердить доверие Джакозы к «молодому шпиону». (Прокурор несколько раз упоминает о молодости Маттаниа, что подкрепляет наше предположение о том, что Маттаниа и Матрачиа, о котором говорит Джованни Раффаэле, — не одно и то же лицо.)

После обысков и арестов добавились новые данные, доказывающие правдивость донесений Маттаниа, однако лишь частично, ибо отсутствуют признания или свидетельства о том, что, по его утверждениям, говорили обвиняемые. «Оставим в стороне, — пишет Гуидо Джакоза, — многочисленные противоречия, в каковые впадают даже наиболее осмотрительные обвиняемые — монсеньор Калькара, священники Пати и Аньелло; противоречия непростительные, касающиеся обычных недавних фактов, которые одни обвиняемые решительно отрицают, а другие подтверждают. Оставим в стороне отдельные частности, уже отмеченные в протоколах, например, такую: когда синьора Антонино Парети спросили, знаком ли он с Маттаниа, он перекрестился, прежде чем ответить; или более значительную деталь: пиастр, который Гаэтано Парети вручил Франческо Чипри в то утро, когда их обоих арестовали. Первый это отрицает, второй признает. Кроме этих мелких подробностей, имеющих, однако, серьезное значение, нам удалось установить следующие факты:

1) Маттаниа, выйдя из тюрьмы, пошел к жене Гаэтано Кастелли и говорил с ней о муже. Он навещал ее неоднократно и приносил ей деньги. Допрошенные жена и мать Кастелли категорически отрицали эти факты, клянясь именами господина и мадонны. Мы, однако, знали от Маттаниа, что его видела их соседка, которой Маттаниа даже передавал несколько раз деньги для семьи Кастелли. Мы вызвали жен-

щину, указанную Маттаниа, и она точно подтвердила все факты. Когда же мы сделали жене Каstellи очную ставку с этой новой свидетельницей, та побледнела, растерялась и разразилась рыданиями. После этого она призналась, что знакома с Маттаниа, призналась и в том, что он приходил к ней несколько раз и оставлял деньги. О своем первом разговоре с Маттаниа она рассказала в тех же выражениях, что и он сам, как это видно из приложенных документов.

2) Маттаниа повидался с Чипри, говорил с ним о Каstellи, неоднократно приходил к нему домой, оказал ему кое-какие услуги, несколько раз бывал с ним в кабаке. Все это Чипри подтвердил, он был единственным из обвиняемых, кто — может быть, по сговору в тюрьме Каstellамаре, когда арестованные содержались все вместе,— признал, что знаком с Маттаниа и временами с ним общался.

3) Мы твердо знали, что Маттаниа бывал в доме у священника дона Аньелло и монсеньора Калькары; но мы хотели еще больших доказательств. Поэтому мы вызвали Маттаниа и занесли в специальный протокол сделанное им описание апартаментов священника Аньелло и монсеньора Калькары; разумеется, только тех комнат, куда он был допущен. Он описал их во всех подробностях. В доме священника Аньелло он описал лестницу, помещение под навесом, сапожника, который там работает, двух служанок, старую и молодую, дверь, залу, окно с решеткой, стол у стены, кресло, диван и стулья. В апартаментах монсеньора Калькары он описал прихожую, полутемную комнату слева, освещенную лишь узеньким оконцем, третью комнату — с письменным столом у стены, прочую мебель, книжный шкаф, кресла, окно, картины,— словом, всю обстановку. Мы в сопровождении архитектора совершили осмотр на месте... Все, что описал Маттаниа, оказалось абсолютно точным! Следовательно, он и в самом деле входил в эти комнаты и пробыл там достаточное время для того, чтобы запомнить расположение и форму дверей и окон, мысленно составить инвентарный список. Но почему священники Аньелло и Калькара опровергают это? Почему вся их прислу-

га утверждает, что никто никогда не входил в квартиры их хозяев? Тот неопровержимый факт, что Маттаниа входил в эти комнаты, сообщает истинность его рассказу о том, что там делалось и говорилось; ведь если бы делались дозволенные вещи, в которых можно было бы признаться, то здравомыслящие священники не преминули бы рассказать об этом».

Но во время второго допроса монсеньор Калькара был вынужден признать посещения Маттаниа: «За четыре или пять дней до моего ареста какой-то неизвестный явился в мой дом в послеполуденный час. Меня не было дома, и он попросил у служанки позволения войти, чтобы написать мне записку, действительно написанную и оставленную им. Уходя, он сказал, что зайдет в тот же вечер в восемь часов. Когда я вернулся домой, служанка рассказала мне об этом человеке и передала записку, но я, думая, что речь, как обычно, идет о милостыне, не стал ее читать и бросил на стол среди ненужных бумаг. Вечером неизвестный явился (Калькара описывает его внешность, называет имя — Орацио, но говорит, что фамилию забыл). Он стал рассказывать мне про Паскуале Мазотто, называвшего себя моим крестником (Калькара не говорит — правда это или ложь), и просил сжалиться над ним и назначить ему ежемесячное пособие. Я ответил, что никогда не выплачиваю пособий, а оказываю милость кому хочу и когда хочу; что преступление Мазотто огромно и самое большее, что я могу сделать — изыскать способ помочь его детям. Тогда неизвестный ушел, бормоча себе под нос слово «правительство». Я уверен, что эта записка все еще находится в моем доме, и я попрошу племянника отыскать ее и предъявить суду».

В этом пункте прокурор, строго говоря, допустил ошибку: он не приказал немедленно обыскать квартиру монсеньора Калькары. Может быть, потому, что он уже имел достаточно неприятностей в результате первого обыска; а может быть, и потому, что, присутствуя при этом, убедился, что обыск делался тщательно и, если бы записка существовала, ее не преминули бы найти. Но подчас ошибки дают такие плоды, каких не получишь при правильном ведении дела.

Прокурор не ожидал, что ему принесут эту записку, поскольку Маттаниа уверял, что он ее не писал. Но два дня спустя к нему явился синьор Франческо Калькара, племянник монсеньора, с известием, что «в корзине для ненужных бумаг» он нашел эту наинужнейшую для доказательства лживости Маттаниа записку и вручил ее нотариусу Альбертини. Через два часа она была на столе у прокурора. Думается, что он пережил момент растерянности, даже паники: «Действительно, почерк настолько походил на почерк Маттаниа, что в авторстве нельзя было сомневаться, особенно подпись была точь-в-точь его». Вызвали для объяснений Маттаниа, который на очной ставке с монсеньором Калькарой с такой убедительной искренностью утверждал, что он никогда не писал этой записки, что прокурору не оставалось иного средства, кроме экспертизы: официально — чтобы установить истину, а неофициально — чтобы впредь со спокойной совестью доверять своему осведомителю. Из элементарной предосторожности он поручил это дело обвинительной коллегии Апелляционного суда в Милане. Через несколько дней судебный следователь Бельмондо сообщил, что эксперты с легкостью констатировали подделку; «факт подлога был установлен не путем чьих-либо оценок или суждений, а на основании доказательств физического порядка, ибо обнаружили надпись тончайшим пером другими чернилами, поверх которой был затем нанесен видимый текст».

Результат экспертизы означал победу Маттаниа. Ведь правительство, полиция, квестор Болис уже готовились снова засадить его в тюрьму. Да к тому же в довольно далекую тюрьму. В Генуе.

Правительство, Сенат, палата депутатов, судебские лица высшего ранга, газеты — буквально все желали узнать от прокурора Джакозы и следователя Мари, каким образом такой человек, как Сант'Элиа, который «приветствовал» национальное единство и даже подкрепил свои приветствия небольшой денежной суммой, за столь краткий промежуток времени мог превратиться в сторонника реставрации Бурбонов. Проку-

рора Джакозу и следователя Мари спрашивали об этом. А они хотели задать подобный вопрос Сант'Элиа, да только не могли этого сделать.

Не будучи знаком с князем Сант'Элиа, но немного зная историю Королевства обеих Сицилий, Джакоза отвечал, что «история и в наше время не скупится на подобные примеры и в особенности — история Неаполя и Сицилии: с эпохи норманнов, а затем во времена швабского, анжуйского, арагонского владычества* эта история была лишь непрерывной вереницей баронских заговоров с целью изгнать нового синьора и вернуть прежнего, чтобы затем свергнуть старого и посадить на его место нового. Чему же удивляться, если в этой цепочке предательских сговоров богатый патриций совершает измену без разумно объяснимой причины?» И Джакоза в свою очередь задает вопрос тем, кто требует от него найти причину, объясняющую поступки, в которых обвиняется Сант'Элиа: «Да разве факты перестают быть фактами только потому, что мы не можем подобрать им подходящее объяснение? Только потому, что никто не понимает, какие мотивы могли толкнуть князя Сант'Элиа на заговор, мы должны а priori отрицать и его участие в заговоре, и те непреложные факты, что его уличают? Мотивы! Да кому дано проникнуть в сердце человеческое? И разве редко встречаются люди, совершающие необъяснимые действия?»

В среде наемных исполнителей, как мы видели, также возникал этот вопрос: почему князь Сант'Элиа устраивает заговор против правительства, столь щедро одарившее его почестями и должностями? И тот ответ, который дал Каstellи в разговоре с Маттаниа, в принципе не отличался от ответа, данного прокурором Джакозой. Это был ответ исторического и, как выразились бы теперь, социологического порядка.

«Те, кто умеет читать и писать и у кого есть деньги,— говорил Каstellи,— никогда не бывают довольны, они вечно строят заговоры, чтобы от всех что-нибудь заполучить, а мы,

* Перечисляются различные чужеземные династии, сменявшие друг друга в Королевстве обеих Сицилий, начиная со средних веков.

бедняки, рискуем жизнью и должны гибнуть, потому что мы их никогда не выдадим, мы не подлецы, как Д'Анджело, мы пойдем на смерть, не сказав ни словечка, чтобы нашим семьям продолжали помогать... Эти синьоры хотят сделать как в сорок восьмом году. Наверно, потому, что они не получили от Виктора-Эммануила доходных должностей, они берут деньги от Франческо Второго и хотят, чтобы снова была революция. А денежки их всегда прикроют».

Были и другие причины общего порядка, которые помогают нам понять частные, личные мотивы Сант'Элиа. В этом ряду напоминание Каstellи о 1848 годе абсолютно уместно. Сколько было отречений, оправданий, клятв и уверений в вечной преданности династии Бурбонов, просьб о прощении, с коими почти все сицилийские аристократы обращались к тому самому королю Фердинанду, чье низложение они с энтузиазмом провозгласили как пэры и как депутаты «революционного» парламента*! Документы эти, мягко говоря, постыдные для всего класса в целом, их низость доходит до комизма самого грубого пошиба. Читая их, легко себе представить, что этот же класс, эти же лица четырнадцать лет спустя будут способны приветствовать бурбонскую реставрацию и просить прощения у Франческо II за свои кратковременные гарибальдийские и савойские заблуждения (вроде тех цветочков, которые, «заблудившись», падают на голову Лауры в канцоне Петрарки «Светлые, свежие, чистые воды»).

В 1862 году положение на Сицилии, должно быть, представлялось этим людям абсолютно схожим с ситуацией 1849 года: казалось бы, достаточно одному полку бурбонской армии высадиться где-нибудь на побережье — и вся Сицилия восстанет против пьемонтцев. В народе, в среде мелкой

* Революция января 1848 г. в Неаполитанском королевстве заставила короля Фердинанда II дать конституцию, по которой законодательная власть вручалась парламенту, состоящему из двух палат. После поражения революции в Неаполе в мае 1848 г. сицилийский парламент объявил независимость Острова, низложил Фердинанда II и избрал королем герцога Генуэзского. Но в сентябре 1848 г. армия Фердинанда II овладела Мессиной, а в апреле 1849 г. вступила в Палермо, и на Сицилии был восстановлен абсолютизм.

сельской «бурджизии» (каждый раз, когда в сицилийских делах приходится говорить о буржуазии, следует или употребить диалектальное слово, или добавить к нему прилагательное: мафиозная буржуазия) царило большое разочарование: ввели налоги, обязательную воинскую повинность, от которой люди состоятельные откупались, а бедняки отбывали ее от трех до семи лет; экспроприация церковного имущества была целиком выгодна крупной «бурджизии», владевшей недвижимостью и гораздо более алчной и жестокой, чем феодальная аристократия. Очень остро стояла проблема поддержания общественного порядка; по-видимому, и в самом деле существовала большая разница между тем, как в период с 1848 по 1860 год руководил бурбонской полицией квестор Манискалько, и приемами савойских квесторов с их нерешительностью, неоправданной строгостью, столь же неоправданными послаблениями и глупым макиавеллизмом. Вроде «похвального», как выражались «Официальные ведомости», метода Болиса. В общем, реставрация Бурбонов представлялась не только возможной, но неминуемой и скорой. Повсюду на острове — стихийно и, разумеется, втайне — создавались бурбонские комитеты; думается, этому весьма изумлялись даже сам Франческо и его верный министр Уллоа, ибо они ни на грош не верили в преданность сицилийцев.

Для тех сицилийцев, у которых был нюх, настал момент явить знаки своей преданности Франческо II — но сделать это осторожно, осмотрительно, словом, ведя ту двойную игру, что, как мы видели 80 лет спустя, столь успешно помогала лавировать меж фашизмом и антифашизмом. А нюх у класса аристократии не только был, но и весьма обострился за многие века.

Можно было бы сказать, что князь Сант'Элиа, ведя эту двойную игру, не был осторожен и предусмотрителен: ведь он полностью доверился шпиону и — еще более тяжкая ошибка — явил себя главарем в глазах наемных преступников: Кастелли, Мазотто, Кали и Анджело Д'Анджело. Но эту его кажущуюся неосмотрительность и даже глупость можно рассматривать и как высшую ловкость, как апогей, как сублима-

цию и апофеоз двойной игры. Именно то, что она велась столь явно, и могло бы сделать ее немыслимой в глазах людей. Так это и произошло на деле. Кроме того, возможно, что такой риск Сант'Элиа счел необходимым, исходя из собственной амбиции и из общей ситуации; и во время восстания сицилийского народа, которое он считал неминуемым, и при последующей реставрации Бурбонов он, вероятно, хотел предстать первейшим и главнейшим организатором переворота, чтоб его немедленно и недвусмысленно признал таковым глас народа, а уж потом — Франческо II (каковой к тому же вернул бы как конституционный монарх).

Действительно, все, что он получил от савойской династии, было в смысле реальной власти лишь видимостью; торжественной, пышной, но только видимостью. Сенатор Королевства по цензу; представитель короля на богослужениях и в церковных процессиях. Настоящая власть была в руках у других. Об этом говорит тот факт, что никто не остановил Джакозу, прежде чем он произвел обыск. Никто ни прямо, ни косвенно не предупредил его о необходимости соблюдать сдержанность, осторожность. 13 февраля Джакоза написал министру юстиции о своем намерении продолжать расследование против князей Сант'Элиа и Джардинелли и изложил трудности, которые министру надлежало устранить и которые были связаны с сенаторским званием Сант'Элиа. Министр не выразил ни изумления, ни огорчения. Он приберег их для заседания Сената 24 марта. Промолчав же в тот момент, он дал обоим судебным чинам основание считать, что готов предпринять меры к преодолению трудностей. Может быть, молчание министра было вызвано небрежностью, невнимательностью, а возможно, оно диктовалось желанием завести дело настолько далеко, чтобы на Сант'Элиа пала тень известного недоверия. Не более того. Словом, что бы это ни было — рассеянность или расчет, важно, что ни в министерстве юстиции, ни в министерстве внутренних дел целый месяц и пальцем не шевельнули в защиту Сант'Элиа. В отношении действительно могущественного лица либо не было бы допущено подобной рассеянности, либо, если иметь в виду расчет, это лицо было бы уничтожено.

Сант'Элиа был избран в 1861 году депутатом избирательной коллегии Террановы (от Джелы, где он был герцогом), разумеется от правой партии. Позже он был назначен сенатором. Для своих политических махинаций он располагал лишь одной масонской ложей — разумеется, правой,— которой он, кажется, заправлял как хотел, причем неясно, что его сближало с одними сицилийскими масонскими ложами и что отдаляло от других. Быть может, именно из соперничества между масонами и родилось на министерском уровне намерение слегка дискредитировать его.

В общем, Сант'Элиа мог ощущать известную неудовлетворенность тем, что он получил от савойского правительства, и, следовательно, питать надежду получить больше от Бурбонов. В этом он был не одинок; сицилийские депутаты в национальном парламенте, к которым некий бурбонский агент (на самом деле — агент правительства Виктора-Эммануила) обращался с предложениями касательно реставрации, либо обнаружили склонность согласиться с ними, либо по крайней мере их не отвергли. И это были люди, чьи имена как деятелей Рисорджименто мы читаем ныне на мемориальных досках.

Материалов, которыми располагали Джакоза и Мари против князя Сант'Элиа, было недостаточно для солидного обвинительного акта, который бы мог противостоять в судебных прениях адвокатам, каковые уже не являлись защитниками бедняков или адвокатами по назначению. Однако они все же рассчитывали выстроить такое обвинение с помощью терпения, рвения и мужества, которые для этого требовались и которыми они обладали. Прежде всего они выговаривали для себя право обходиться с князем как и с любым гражданином, замешанным в столь тяжком преступлении, как и со всеми теми, кто уже сидел в тюрьме. «Разделить этот процесс нельзя,— писал Джакоза.— Сохранить то, что относится к другим, устранив то, что касается Сант'Элиа, невозможно. Обвинять, судить, быть может, приговорить одних, в то время как другой, запятанный теми же уликами, упомянутый в тех же документах, замешанный в тех же событиях, ходит на свободе, могущественный и уважаемый,— подобные дейст-

вия оскорбили бы всякое чувство справедливости и дискредитировали бы суд и государственное устройство... Ни один юрист, сознающий свой долг и уважающий свою профессию, не мог бы поддерживать обвинение против всех подсудимых, за исключением одного, главного и явно наиболее виновного, избежавшего бы всякой санкции закона».

Но Джакоза уже знал — и писал об этом в докладе министру юстиции, — «что первый заговор, направленный на то, чтобы ввергнуть страну в мятеж и анархию, теперь сменился другим, цель которого — любой ценой устранить то, что может привести к раскрытию первого. Исчезновение моего первого доклада, что нельзя считать случайным, — ясное доказательство этого». И хотя первый заговор был сорван, бороться со вторым оказалось невозможным. Джакоза говорил: «Мы не отчаиваемся». Но сам уже отчаялся.

Последним документом в досье, собранном им для личных и семейных воспоминаний, является второе письмо к тому судейскому лицу, стоявшему выше его по рангу, на чью поддержку он прежде надеялся: «Скажу вам, что я утомлен, издерган, измучен до такой степени, что нет больше сил. Этот процесс принес мне такую физическую усталость и такой моральный ущерб, что если бы я, по счастью, не обладал железным здоровьем, то уже ушел бы в отставку... Но больше я не в состоянии выдержать». Он пишет, что обратился с просьбой об отпуске, «необходимом, чтобы в лоне семьи вернуть себе силы и спокойствие, в которых я столь нуждаюсь», и о переводе в другое место. Все что угодно — отпуск без жалованья, отставка, только бы не оставаться долее в Сицилии.

Он думал, что обязан своим поражением — поражением закона и правосудия — Сицилии, «привычкам, традициям, духу и нравам этого несчастного края, больного гораздо более тяжело, чем это принято считать». На самом деле этим поражением он был обязан Италии.

3 февраля 1862 года осведомитель итальянского правительства, проникший в бурбонские круги в Риме, послал генеральному директору министерства внутренних дел Челестино Бьянки

пространный рапорт из Генуи о деятельности бурбонского Комитета, возглавляемого министром Уллоа*. Этот Комитет по приказу Франческо II должен был «подготавливать и направлять все операции на Сицилии, учитывая благоприятную обстановку, подтвердившуюся последними событиями в Каstellамаре (народный мятеж, кратковременный, но кровопролитный) и некоторых других пунктах острова». Членами Комитета были князья Скалетта и Сант'Антимо, граф Капачи, князь Кампофранко, барон Мальвика, Эммануэле Раэли, протоиерей Джузеппе Карнемолла, адвокат Джузеппе Грассо; первые двое проживали в Неаполе, остальные в тот период находились в Риме. В Комитет входили в качестве консультантов испанский посол и генерал Джироламо Уллоа, брат министра.

Член Комитета Эммануэле Раэли, сицилиец из Ното, брат одного из депутатов итальянского парламента, был осведомителем итальянской полиции⁶. Комитет доверил ему выполнение определенной миссии в Марселе (где проживал бывший начальник сицилийской полиции Сальваторе Манискалько), Генуе и Турине. Было бы любопытно проследить за этим человеком в процессе выполнения его двойной миссии, за его уд-

* Бывший король неаполитанский Франческо II нашел убежище в Ватикане и при поддержке папы через своего министра Уллоа продолжал попытки реставрации бурбонской династии в Королевстве обеих Сицилий.

Информация Раэли, поступающая из первых рук — непосредственно от члена этого Комитета, который под руководством Уллоа заменял министерство по делам Сицилии, — была к тому же тщательно документирована. К первому донесению, например, прилагались инструкции, подписанные самим Уллоа, его письма, шифровальный код; к другим донесениям — письма, полученные шпионом из Рима. Однако уверения его в том, что он посвятил свою жизнь службе итальянскому королю, отнюдь не сочетались с бескорыстием в денежных делах. Деньги ему были нужны, он их просил, домогался. Нетрудно представить себе его положение, он был из тех младших сыновей квазиародовитой и состоятельной семьи, что жили на скромное содержание, завещанное отцом либо выделенное старшим братом, — содержание, которое они, побуждаемые обидами и злостью, не говоря уже о темпераменте, тут же растрачивали, не вылезая потом целый год из долгов. Это были, как правило, никчемные люди, если только они не избирали военную или духовную карьеру. Типичный персонаж в этом отношении — Микеле Пальмьери Миччике, коему посчастливилось встретиться со Стендалем, вследствие чего он удостоился подробного жизнеописания и тщательного психоанализа (смотри работы Пьера Мар-

военной бдительностью и удвоенным страхом⁷. Но нас больше интересует другой член этого Комитета, посланный на Сицилию, — это протоиерей из Шикли, дон Джузеппе Карнемолла.

«Карнемоллу, — пишет Раэли к Челестино Бьянки, — решили отправить на Сицилию, потому что, принадлежа к партии ультралибералов, он в то же время был ярый автономист, а поскольку он уехал в Рим по своим личным делам еще до известных политических событий (то есть до событий 1860 года), то его поездка на Сицилию не вызывала подозрений. Нужно еще отметить, что благодаря обширным связям Карнемоллы в Риме среди приверженцев итальянской партии (которым не известны ни его миссия, ни его переход на сторону партии короля Франческо) ему удалось получить через них официальное письмо от итальянского консула в Риме, гарантирующее безопасность и предписывающее не чинить ему препятствий во время поездки в Неаполь и Палермо». Это письмо помечено 14 января; 16 января Карнемолла уехал в Неаполь, а оттуда — в Палермо.

Из донесений Раэли и инструкций Уллоа, посланных Раэли в оригинале Челестино Бьянки, видно, что задание, порученное Карнемолле, содержало общую часть, которую он мог выполнять бесконтрольно и по своему усмотрению (ему вручили «несколько писем за подписью его превосходительства Уллоа без указания адресата, дабы он мог использовать их по обстоятельствам»; ему дали полномочия «привлечь деньгами или обещаниями должностей лиц, бывших командирами отрядов в 1848 году»; «учредить в Палермо и других местах Клубы и

тино, Доминика Фернандеса, Массимо Колезанти, Клода Амбруаза и объемистую книгу Никола Чиннелы «Микеле Пальмери Миччике», изданную в этом году издателем Селлеро в Палермо). Правда, Пальмери написал два тома очень живых мемуаров и, кажется, никогда не опускался до сочинения докладов в полицию, ибо обладал идеей чести, которой старался оставаться верным, хоть и не всегда полностью в этом успевал.

⁷ Страху Раэли натерпелся изрядно еще и потому, что в Риме у него оставалась жена (римские «друзья» часто упоминают о ней в своих письмах к нему; она была почти заложницей). «Подумайте, — пишет он к Челестино Бьянки, — ведь в Риме приходится иметь дело со священниками и людьми, закоснелыми в подозрительности и коварстве»; предостережение, которое мы сегодня можем обратить к кое-кому из политических деятелей.

Комитеты»; вызвать в Палермо из провинции известных ему верных людей, которые могли ему понадобиться). Другую же часть задания он должен был выполнять согласно точным директивам Комитета. Одной из первоочередных директив была встреча с князем Сант'Элиа.

Раэли докладывает: «Карнемолла еще будучи в Риме завязал сношения на Сицилии с одним адвокатом (не помню фамилии), своим родственником, который вертит, как хочет, князем Сант'Элиа из Палермо. Тот (адвокат) обнадежил его тем, что князя легко будет перетянуть на нашу сторону; ведь среди прочих официальных бумаг Карнемолла привез декрет короля Франческо, награждавший князя орденом Сан-Дженнаро первой степени и назначавший его придворным камергером».

Карнемолла уехал в Неаполь 16 января. Очевидно, ему пришлось пробыть там несколько дней, потому что один русский дипломат должен был вручить ему бумаги, которые следовало использовать в Палермо. Раэли узнал, что Карнемолла получил эти бумаги, но осталось неизвестным, передал ли он их затем, как было предписано Комитетом, англичанину Джону Бишопу, обязанному снова отдать их ему в Палермо. Раэли получил в Генуе письмо от друга, каковой жаловался на молчание Карнемоллы и высказывал живейшие подозрения по поводу его поведения. Но, как объяснил Раэли своему шефу Бьянки, этот друг, которого он не называет, не являлся членом Комитета. Это письмо помечено 8 февраля. Очевидно, вестей с Сицилии ожидали с чрезмерным нетерпением: ведь надо учитывать, что Карнемолла никак не мог прибыть в Палермо раньше 20 января и в первую очередь он должен был, приняв меры предосторожности, получить бумаги от Бишопы, затем, опять-таки действуя осмотрительно, встретиться вначале с бенедиктинцами из Монреале, каковыми, согласно инструкциям Уллоа, ему надлежало руководить, а уж потом — повидаться со всеми остальными. Нужно еще принять в расчет задержку почты, которая сегодня кажется пустяковой, если учесть, что письмо из Рима в Геную шло всего лишь двенадцать дней, а Раэли жалуется на это как на недопустимо плохое почтовое обслуживание («как будто в Нью-Йорк уехал»).

Как бы то ни было, мы не можем быть уверены, что Карне-молла действительно встретился с князем Сант'Элиа и передал ему декреты о награждении орденом Сан-Дженнаро и о назначении его придворным камергером⁸. Равным образом мы не можем быть уверены, что Д'Анджело говорил правду; что Маттаниа говорил правду; что действительно основаны на фактах, известных лишь немногим, широко распространившиеся в Палермо уже к моменту покушений слухи о том, что «несмотря на обманчивую видимость, князь Сант'Элиа на самом деле — опасный сторонник Бурбонов» (как выражается Джакоза, это было «приглушенное шушуканье», к которому он не стал прислушиваться и после окончания «процесса двенадцати», не ведая, что в Палермо можно узнать правду только из

⁸ По нашему мнению, Карнемолла выполнил, по крайней мере в основных моментах, миссию, вверенную ему Комитетом. Оставим в стороне проблему, к тому же неразрешимую, о его обращении в бурбонскую «веру», хотя можно допустить, что когда автономистские надежды почти рухнули, этот «ярый автономист» мог с досады броситься в лоно бурбонской партии как крайней противоположности идее объединения страны. Мы полагаем, он не предал дела сторонников бурбонского дома по нижеследующей причине. В то время как Гарибальди завоевывал Сицилию, Карнемолла, по справедливому свидетельству Раэли, находился в Риме по личным делам: назначенный протоиереем Шикли в 1845 г. (согласно другому сицилийскому летописцу — в 1846 г.), в 1859 г. он был смещен. Поскольку Карнемолла оспаривал свое смещение, а решать это должен был папский престол, он поехал в Рим, чтобы на месте следить за ходом своей жалобы. Через год с лишним, когда дело было решено в его пользу, он возвратился в Шикли. Легко предположить, что такого решения (поистине благосклонного, если летописец из Шикли, который, будучи каноником, в этих делах разбирался, говорит, что назначение Карнемоллы протоиереем было со стороны епископа Сиракузского превышением власти) он добился ценой перемены своих политических взглядов. Таким образом, ему было бы невыгодно сразу же лишиться дружбы и покровительства, обретенных им с таким трудом во время своего длительного пребывания в Риме. Его предательство, из-за которого пострадали бы многие церковники и даже один кардинал, было бы немедленно наказано. Бездеятельность разочаровала бы, и тогда, будучи протоиереем в среде строптивого бурбонского духовенства и находясь в подчинении у полностью легитимистской и реакционной иерархии, он не мог бы вести ту легкую жизнь, какую вел до семидесяти шести лет. На его могиле можно прочесть следующую надпись: «Здесь покоятся останки настоятеля Джузеппе Карнемоллы. Он блистал остротой ума и ученостью не только в канонических, но и в светских науках. Последователь Анджело Д'Акуино на кафедре и перед алтарем, он достойно отправлял Святую

«приглушенного шушуканья»). Мы не можем быть уверены, что Джованни Раффаэле намекал именно на «патриотическую ассоциацию», возглавлявшуюся князем Сант'Элиа, когда говорил, что эта ассоциация в сговоре с полицейскими элементами замыслила и направила все эти покушения. Мы не можем быть уверены в очень и очень многих вещах, но все они как бы с разных сторон обращены против одного и того же человека.

В одном тем не менее мы можем быть твердо уверены: донесение Эммануэле Раэли, направленное генеральному директору министерства внутренних дел Челестино Бьянки через депутата Бруно, прошло обычный бюрократический путь и в конце концов попало к председателю совета министров, в

Службу и оставил по себе долгую память». Вот и получается, что надгробные плиты иной раз глаголят истину, поскольку мы и ныне интересуемся его жизнью. Надо еще добавить, что после его предполагаемого пребывания в Палермо среди бенедиктинцев Монреале наблюдалось широкое пробурбонское движение, вероятно, в результате увещаний кардинала Д'Андреа, чье послание привез Карнемолла.

Но поскольку все в этой истории имеет две стороны (и даже больше, чем две), то мы задаемся вопросом: если Карнемолла выполнял свою миссию — хотя бы на первых порах, — как же министерство внутренних дел и полиция не обратили никакого внимания на донесение Раэли и предоставили Карнемолле спокойно действовать? Ответ на это — и в таком случае, ключ ко всей истории, которая тем самым полностью объясняется, — может быть следующим: итальянский государственный аппарат был до такой степени пропитан приверженностью Бурбонам — фактической, если не официальной, — что, из сочувствия и солидарности, пробурбонским настроениям было позволено распространяться почти официально. То, что подобный ответ небезоснователен и не придуман задним числом, доказывается, в частности, письмом Микеле Амари из Турина к Убалдино Перуцци от 20 января 1863 года, где говорилось: «Уже целую неделю я получаю с Сицилии серьезнейшие письма. Пишут их не автономисты, не красные, не пессимисты и легкомысленные люди... Дело в том, что бурбоны и клерикалы, де-факто находящиеся под защитой нашего правительства, совсем обнаглели. Синдики и влиятельные лица из среды преступных элементов, гнездящихся в горах вокруг Палермо, это — бурбонские наемники. Правители, слишком быстро сменяющие друг друга и прибывшие из пьемонтских провинций со своими идеями древнего и стабильного правительства, все слюбились с приверженцами бурбонской партии...» Вот здесь мы, умудренные опытом, не удивляемся; мы и сами видели, как правительство Итальянской Республики, родившейся из антифашизма, де-факто покровительствовало фашизму и как «правители» слюбились с фашистами.

чьих бумагах оно и было найдено около века спустя. И так, среди министров, сенаторов и депутатов, которые выражали скорбь и возмущение тем, что приключилось с Сант'Элиа, по крайней мере трое знали о донесении, поскольку видели его лично, и по крайней мере человек тридцать слышали о нем от этих троих.

В палате депутатов 17 апреля 1863 года обсуждался вопрос депутата-сицилийца Луиджи Ла Порты. Ла Порта сказал: «Среди подвергшихся обыску в ночь, когда произошли аресты всех тех лиц, которые в настоящее время находятся в заключении, был князь Сант'Элиа, сенатор Королевства. Обыск произвели у него на тех же основаниях, что и у других. Князь Сант'Элиа, однако, не был арестован, и в то время, как прочие оказались под следствием, князь на страстной неделе представлял короля Италии в Палермо, как это бывало и ранее. Теперь общественное мнение настроено следующим образом: если в отношении князя Сант'Элиа судебные власти совершили ошибку, то такая же ошибка совершена и по отношению ко всем остальным... Я желаю доведения этого процесса до конца».

Есть все основания полагать, что общественное мнение — по крайней мере в Палермо — было настроено совершенно противоположным образом, нежели утверждал депутат Ла Порта (но, разумеется, по-прежнему речь идет о «приглушенном шушуканье»). А именно: виновен князь, виновны и «все остальные», но все идет, как шло всегда, иначе и быть не может; князь на свободе и в чести, а «все остальные» — в тюрьме. Как бы то ни было, завершения судебного следствия и передачи дела в суд присяжных желал не один Ла Порта; этого желали прежде всего Джаккоза и Мари. Но именно то, что было сказано в тот день в палате депутатов, как нам кажется, и уничтожило окончательно все их надежды. Ловкач Пизанелли, формально защищавший их обоих от нападков Криспи (нападков на методы ведения следствия и на то, что по делу оказались привлечены лица, за чью невиновность он ручался; здесь он как будто имел в виду не Сант'Элиа), уже подумывал об их «переводе», что тогда было в компетенции министра юстиции.

Мари согласился на «перевод», а Джакоза вернулся в Пьемонт к свободной профессии адвоката, с которой расстался три года назад⁹.

В своем выступлении по поводу запроса Ла Порты Франческо Криспи сказал, между прочим: «Я думаю, что тайна останется тайной и мы никогда не узнаем правды об этом деле».

Так он готовился управлять Италией.

⁹ 28 и 29 мая 1863 года состоялось заседание обвинительной коллегии Апелляционного суда, чтобы заслушать отчет Джакозы «о событиях и арестах, имевших место в марте» и решить, предавать ли дела обвиняемых суду присяжных. Пятеро членов решили направить в суд дело Руссо и Дади и прекратить следствие по делам остальных «за недостаточностью улик». Вечером того же 29 мая Джакоза покинул Палермо на итальянском пароходе «Капитолий».

Винного цвета море

Повесть

Перевод Евг. Солоновича

Il mare colore del vino

© aprile 1973, Giulio Einaudi Editore, Torino

В составе уходящего летом из Рима в 20.50 *пассажирского поезда на Реджо-ди-Калабрию и Сицилию*, как объявляет по радио женский голос, — у потока пассажиров, направляющихся к этому поезду и влекущих перехваченные веревками, одетые в матерчатые чехлы чемоданы, этот голос вызывает в воображении красивое женское лицо с приметами увядания на фоне вечернего неба над вокзалом Термини, — есть прямой вагон первого класса «Рим — Агридженто», великая привилегия, введенная и сохраняемая по настоянию трех-четырех депутатов парламента из Западной Сицилии. Надо сказать, что по сравнению с другими поездами, идущими на юг, в этом меньше всего народа: во втором классе лишь немногим пассажирам не удастся сесть, а в первом, особенно в вагоне до Агридженто, можно ехать одному в купе: достаточно погасить свет, задернуть занавески и распределить багаж и газеты по сиденьям — и вы останетесь один по крайней мере до Неаполя, а если быть осмотрительным, то и до Салерно. После Салерно можете укладываться спать хоть в майке или даже в пижаме, никто не откроет двери вашего купе в поисках места. Впрочем, этим комфортом не окупается неудобное расписание; вот почему сицилийцы предпочитают скорый поезд, который, уходя двумя часами раньше, прибывает в Агридженто, на конечную станцию, как минимум на семь часов быстрее пассажирского.

Однако инженеру Бьянки, впервые направлявшемуся в Сицилию, а точнее — в Джелу, и притом не на экскурсию, и не доставшему билета на самолет, посоветовали ехать пассажирским, в вагоне «Рим — Агридженто», да еще и забронировать место, дабы, чего доброго, не простоять ночь в коридоре.

Советы — хуже не придумать, особенно последний, ведь в купе с забронированными местами всегда столько человек, сколько мест, в отличие от незабронированных купе, где можно преспокойно ехать одному. Советы, как нередко случается, подвели инженера Бьянки: ему предстояла дорога в обществе пятерых спутников — трех взрослых и двух детей; взрослые, в довершение всего, оказались чересчур разговорчивыми, а дети — невоспитанными.

Из трех взрослых двое были отец и мать невоспитанных детей, при них — то ли родственница, то ли знакомая, то ли случайная попутчица — ехала девушка лет двадцати, на первый взгляд невзрачная в своем монашески черном, с белой отделкой, платье. Дети липли к ней; старший с сонным видом привалился к девушке, а младший карабкался к ней на колени, вис на шее, дергал за волосы, снова сползал на пол, становился на четвереньки — ни секунды не посидит спокойно. Старшего звали Лулу, младшего — Нэнэ, незадолго до Формии инженер узнал, что это уменьшительные от Луиджи и Эмануэле. Впрочем, к тому времени как поезд остановился в Формии, инженеру Бьянки было известно почти все о четырех членах семьи и о девушке, ехавшей с ними. Они были из Низимы, поселка в провинции Агридженто; это большой поселок в стороне от железной дороги, с богатыми угодьями и богатыми землевладельцами, родина одного из столпов фашистского режима, в муниципалитете — социалисты и коммунисты, имеется старинный замок. Муж и жена преподают в начальной школе, девушка — тоже, правда пока временно. Семейство ездило в Рим на свадьбу, брат жены — министерство обороны, должность I класса, большая сила по части пенсионного обеспечения — женился на римлянке, серьезной девушке из прекрасной семьи, отец — министерство просвещения, I класс, сама невеста окончила филологический, преподает в частной школе, красавица, высокая, блондинка. Они обвенчались как раз сегодня, в Сан-Лоренцо-ин-Лучина, красивая церковь, не такая, как Сант-Иньяцио, но красивая. Свидетели — все I класса. Что касается девушки, которую поручил им на обратном пути ее брат — министерство юстиции, I класс, — то она приезжала в

Рим развеяться после тяжелой болезни, и ее черное платье — условие обета, данного святому Калоджеро, покровителю Зимы, исцелителю и чудотворцу. В Риме столько церквей, и хоть бы одна была построена в честь святого Калоджеро, как же так?— недоумевала жена, ни одной церкви, ни единого алтаря. А ведь это великий святой.

У мужа святой Калоджеро вызвал скептическую улыбку. Девушка рассказала, что в детстве боялась святого Калоджеро, его черного лица, черной бороды, черного плаща; и, если по правде, обет святому она не сама давала, а мать, но как будто бы от нее, и черное платье ей носить еще месяц — шестой по счету.

— В такое пекло, когда камни от жары плавятся,— почувствовал глава семейства.

— А иначе какой смысл в обетах?— возмутилась жена.— Без страдания обет ничего не дает.

— На меня весь Рим оглядывался, неужели этого мало?— спросила девушка.

— Мало. Унижение и страдание — вот что надо испытать, чтобы снять обет,— изрекла женщина.

Девушка ответила легкой усмешкой. И неожиданно инженер увидел ее совсем другой. Красивая грудь, хорошая фигура, которую не портило мрачное одеяние. И лучистые глаза.

— Я снимаю обет,— объявил младший из детей, распуская шнурки и дрыгая ногами, чтобы сбросить ботинки. Один ботинок не снимался, второй угодил инженеру в грудь.

Последовал грозный окрик родителей:

— Нэнэ!

Отец с матерью извинились перед инженером, инженер, возвращая ботинок, успокоил их:

— Пустяки, дети есть дети...— это были и в самом деле пустяки, он не подозревал, какие сюрпризы Нэнэ и Лулу приберегали для него на предстоящую долгую дорогу — от Неаполя, где они всю разошлись, до Каникатти.

— Ох уж эти мне обеты!— вздохнул муж, продолжая начатый разговор и надевая Нэнэ ботинок.— Дикость, предрассудки, невежество...

— Сам-то ты святую лестницу прошел,— язвительно заметила жена.

— Это разные вещи,— возразил муж.— Не забывай, что я был одной ногой в могиле.

— А вот и не разные. Пусть синьор скажет, разные или не разные,— не уступала жена.

Инженер ответил подобием улыбки и робким протестующим жестом.

— Нет,— настаивала она,— вы должны сказать, разные это вещи или не разные, когда он сам проходит святую лестницу, а потом, видите ли, смеется над обетами, которые люди дают святым.

— Вот-вот, скажите,— присоединился к ней муж со слабой надеждой на поддержку.

— А что это значит — пройти святую лестницу?— спросил инженер, но лишь затем, чтобы выиграть время.

— Вы не знаете?— удивилась женщина.

— Что-то смутно припоминаю...— забормотал инженер.

— Смутно... припоминаю... Но, простите, вы католик или нет?

— Католик, хотя...

— Он думает так же, как я,— возликовал муж.

— Ты-то святую лестницу прошел,— уничтожающе повторила жена.

— С тобой за компанию,— отважился уточнить муж.

— Хочу есть!— закричал Нэнэ.— Хочу колбасы, хочу бананов!

— А я лимонада,— встрепенулся Лулу.

— Никакой колбасы, у тебя от нее крапивница,— заявила мать. Она показала на красные пятна, покрывавшие руки Нэнэ.

— Колбасы, или я сделаю как осел дона Пьетро!— предупредил Нэнэ, обещая всем своим видом незамедлительное исполнение угрозы.

— А как делает осел дона Пьетро?— весело спросила у него девушка: по всему было видно, она хорошо знала, о чем спрашивает.

Нэнэ соскользнул с сиденья, собираясь дать наглядный ответ.

— Ради бога!— всполошились отец с матерью, хватая его.— Осел дона Пьетро,— объяснили они инженеру,— любит бешено кататься по земле, задрав ноги кверху. Нэнэ очень похоже его изображает.

Мальчику дали колбасы.

— Лимонада,— захныкал Лулу,— лимонада, лимонада...

— В Неаполе,— пообещали все, включая инженера.

Чтобы добиться своего, Лулу непереносимо ныл на одной ноте, а Нэнэ использовал угрозы и шантаж. Инженеру больше импонировали решительные и быстродействующие методы Нэнэ, плач Лулу отчаянно действовал ему на нервы.

Поцелуи родителей успокоили Лулу. Щекотливая тема святой лестницы тем временем, слава богу, отпала.

— Вы не женаты,— установила защитница обетов, метнув быстрый взгляд на левую руку инженера и не увидя обручально-го кольца.

— Когда у человека голова на плечах, он не женится,— сострил муж.

— Что верно, то верно, если судить по тебе: ты ведь женат,— согласилась супруга.

— А я думаю,— сказал инженер,— что люди с головой на плечах рано или поздно женятся, я тоже это сделаю, с опозданием, но сделаю.

— Слышишь,— укоризненно спросила жена,— что говорят умные люди?

— Но я ведь шучу... Хотя в целом, если отбросить шутки и посмотреть на вещи объективно, брак — это ошибка... Лично у меня нет оснований жаловаться: моя жена — поверьте, я не ради красного словца говорю и не для того, чтоб ей польстить,— моя жена настоящий ангел,— супруга потупила неожиданно просветленное лицо,— и у нас растут два ангелочка...— Он погладил Нэнэ, сидевшего ближе к нему, и Нэнэ, отвечая на ласку, потерся лоснившейся от колбасы рожицей о его шелковую рубашку — праздничную рубашку, которую он не успел переодеть после венчания шурина.

— Рубашка!— закричала мать. Но было слишком поздно: шелк украшали жирные разводы.

— Радость моя, ты испортил папе рубашку,— посетовал отец.

— Еще колбаски!— потребовал Нэнэ.

— Упомяни еще раз колбасу — и ты пожалеешь,— предупредил отец,— придет фельдфебель и тебя арестует.

— Я ее не упоминаю, я ее хочу,— выкрутился Нэнэ, легко обойдя запрет.

— Он дьявольски умен,— с гордостью сказал отец.

— Я ее хочу,— повторил Нэнэ.

Отец был непреклонен:

— Нет, нет и нет!

— Вот приедем домой,— пообещал Нэнэ,— я тете Терезине расскажу, как вы с дядей Тото ее обзывали.

— Мы ее обзывали?— заволновалась мать, расстроено прижимая руку к груди.

— Ты с папой. Вы говорили дяде Тото, что она скряга, не моется и строит козни...— беспощадно напомнил Нэнэ.

— Я дам ему колбасы,— сказал отец.

— Давай,— согласилась мать,— а когда он будет весь в крапивнице, весь золотушный, он пойдет к тете Терезине, чтобы она его чесала.

— Я буду чесаться об стену,— победоносно заявил Нэнэ, хватая протянутую отцом колбасу.

Глядя на родителей Нэнэ, на их немой ужас, инженер представил острое и подвижное, как у хорька, личико тети Терезины. Чтобы отвлечь их от горестных мыслей, он возвестил:

— Вот и Неаполь.

Огни города уже светились в ночи.

Сообщение встряхнуло Лулу, томно, словно в полусне, привалившегося к девушке, и он отчаянно завопил, что хочет лимонада.

Пока поезд скользил вдоль платформы, выкрики: «Наполеон! Наполеон!»— заинтересовали Нэнэ.

Отец объяснил, что так называются слоеные пирожные с кремом, Нэнэ с готовностью и присущей ему учтивостью

выразил желание съесть одно пирожное. Инженер купил лимонад для Лулу и наполеон для Нэнэ. Такое внимание к детям вызвало бурные изъявления благодарности и формальные представления: учитель Миччике, инженер Бьянки.

Откусив наполеон и выказав непреодолимое отвращение, Нэнэ, в ознаменование торжественной минуты знакомства, с размаху, точно бутылку шампанского при спуске корабля на воду, бросил пирожное — разумеется, целясь в отца и чуть не попав ему в лоб.

— Хулиган! — в один голос заклемили его синьор и синьора Миччике.

— Сами ешьте эту гадость. А я хочу трубочку.

— Трубочку? — удивился отец. — Откуда я тебе ее возьму в Неаполе на вокзале, трубочку?

— А мне на...ть: хочу трубочку, и все! — заявил Нэнэ, обнаруживая склонность к сильным выражениям, о которой инженер до этого не подозревал.

Девушка рассмеялась. Синьор и синьора Миччике, готовые сквозь землю провалиться, пригрозили, что сейчас появится фельдфебель с хлыстом и наручниками, даже попросили инженера выглянуть в коридор: наверняка фельдфебель, возмущенный сквернословием Нэнэ, уже близко. Инженер выглянул и подтвердил, что видит фельдфебеля.

— Фельдфебель рогоносец, — произнес Нэнэ шепотом: ему было страшно, но он не хотел сдаваться.

Между родителями вспыхнул спор — где и от кого Нэнэ научился выражаться. Рассадником нецензурщины, по мнению госпожи Миччике, был клуб, куда отец обычно брал его с собой под вечер, а самыми непосредственными виновниками лингвистической неразборчивости маленького Нэнэ — некто Калоджеро Манкузо и Луиджи Финистерра, молодые лоботрясы, не нашедшие себе лучшего развлечения, чем портить наивного ребенка.

— Вы не представляете, — сказала синьора Миччике инженеру, — чему они его учат, каким страшным вещам, даже про угодников божьих, даже про святейшего папу... Хорошо еще, что мальчик быстро забывает.

Со стороны Нэнэ немедленно последовало опровержение:

— Святейший папа...— но две руки, материнская и отцовская, бросились затыкать ему рот, откуда ужасная характеристика все же просочилась, точно вода из лопнувшей и наспех заделанной чем попало трубы, и не сказать, чтобы характеристика эта так уж не поддавалась расшифровке.

— Вы видели?— спросила синьора Миччике инженера.— А я думала, он забыл... Вот какому безобразию они его учат.

По мнению той же синьоры Миччике, ничего подобного, конечно, не было бы, если бы отец, вместо того чтобы сидеть в клубе за картами, занимался ребенком; синьор Миччике просто помешан на картах.

Однако, по мнению учителя, дело обстояло совершенно иначе, и не клубу, школе возвышенных чувств и целомудренной речи, был обязан сочными выражениями Нэнэ, а двору, куда выходит один из балконов их дома: во дворе живут грубые люди, и вина матери, что ребенок часами торчит именно на этом балконе.

Положив конец спору, свою точку зрения лапидарно выразил Нэнэ:

— Клубу.

Учитель сник, но жена не стала злоупотреблять одержанной победой, более того — перевела разговор на другую тему: в это время как раз тронулся поезд, и она принялась вспоминать их свадебное путешествие, вторым этапом которого, после Таормины, был Неаполь.

Часы показывали полночь. «Здесь не поспишь»,— подумал инженер, решая, не переменить ли место, ведь рядом были почти пустые купе. Впрочем, спать ему не хотелось: раздражение оттого, что его соседями оказались безудержно словоохотливые люди, да к тому же еще и эти ужасные дети, постепенно сменилось веселым любопытством, а теперь, когда он готов был перейти в другое купе,— смутным, неопределенным чувством, которое нельзя было назвать расположением, но которое было похоже на расположение. Он никогда не умел ладить с детьми и всегда считал, что не выносит их общества, в поездках не-

изменно следовал правилу избегать купе, где были дети; однако Нэнэ решительно ему нравился. И нравилась девушка: с каждым жестом, с каждым произнесенным словом она становилась все живее и привлекательней. «Дело в том,— думал инженер,— что путешествие являет собой как бы концентрированное отражение существования, сжатого во времени и пространстве; по тому, как ярко путешествие воссоздает все элементы нашей жизни, ее условия и связи, я бы даже сравнил его с театром, в основе которого лежит замаскированный вымысел». Собравшись с духом, он сообщил учителю о своем намерении перебраться в другое купе — чтобы вы чувствовали себя свободнее, объяснил он, чтобы детям не было так тесно.

— Ни в коем случае,— воспротивился синьор Миччике,— не извольте беспокоиться, если кому и переходить, то не вам, а нам.

Они обменялись любезностями и церемонными возражениями, после чего было решено, что никто из купе не уйдет.

Лулу объявил, что хочет спать, и попросил погасить свет.

— Пускай горит: в темноте я не увижу фельдфебеля,— забеспокоился Нэнэ, которого явно не устраивала перспектива встречи с фельдфебелем.

— Гасите свет!— завопил Лулу.— Я хочу спать!

Нэнэ, если говорить языком фельдфебелей, стремительно перешел от слов к делу: соскользнув на пол, бросился на Лулу и впился ему зубами в ляжку. Лулу заорал и яростно вцепился в волосы брата. Их растащили, сдавив нос Нэнэ, чтобы он отпустил ногу противника, и по одному разжав пальцы Лулу. Нэнэ получил от отца вялую затрещину, а Лулу — вялый выговор.

— Интересно, что это за фельдфебель?— улыбаясь, спросил у Нэнэ инженер.— Кто он такой?

— Кусок...— Ему снова поспешили заткнуть рот, но и на сей раз это оказалось лишь полумерой.

— Младенец Иисус плачет. Когда ты говоришь нехорошие слова, он всегда плачет,— сказала мать.

— А где младенец Иисус?— спросил Нэнэ.

— На небе и здесь. Везде.

— Никогда его не видел,— равнодушно произнес Нэнэ.

— Его не видно, но он есть.

— Если не видно, значит, его нет.

— Грех так говорить,— сказала мать.

— Ты попадешь в ад,— прибавил Лулу.

— Ад для фельдфебелей,— парировал Нэнэ.

Все засмеялись, в том числе и мать.

— Чертеночек ты мой,— умилился отец, ласково погладив Нэнэ.— Что скажете?— Это он обращался уже к инженеру.— Вы когда-нибудь встречали такого ребенка?— Его глаза светились гордостью.

— Никогда,— ответил инженер, и это была правда.

— Он неплохой мальчик,— продолжала мать,— только нервный... Если бы вы знали, какой он добрый: не успеет получить новую игрушку или книгу с картинками — тут же кому-нибудь подарит. Будь его воля, он бы все отдал бедным, весь дом. Придет нищий милостыню просить, он места себе не находит: мамочка, дадим ему костюм, дадим ему матрас, дадим ему тарелки... Он думает, бедность — это когда у людей нет матрасов и тарелок, его мучает, что бедные спят на земле и едят суп из консервных банок, которые мы выбрасываем...

— Они спят возле церкви,— уточнил Нэнэ,— и вместо тарелок у них банки из-под помидоров, я сам видел. И они умирают.

— Ошибаешься, они не умирают,— сказал отец.

— Нет, умирают,— повторил Нэнэ тоном, не допускавшим возражений. И прибавил:— Вот стану бедным, и тогда они больше не будут умирать.

— Он хочет стать бедным!— передразнил Лулу.— Дурак, я тебе тысячу раз объяснял: можно стать доктором, можно стать священником, а бедным нельзя.

— Правда можно стать бедным? Правда, папа?— спросил Нэнэ отца.

— Ну конечно, можно... А как же!— поспешил согласиться учитель.

— Что я говорил?— Нэнэ презрительно посмотрел на

брата.— Выходит, не я дурак, а ты: не знаешь, что бедным тоже можно стать.

— А я стану фельдфебелем,— объявил Лулу,— и арестую тебя и всех бедняков.

Он задел больное место. Нэнэ встал.

— Он меня укусит!— завизжал Лулу, поднимая ноги, чтобы защищаться.

— Не бойся, не укушу: просто мне охота походить, вот я и слез. Сколько можно сидеть на одном месте?— Нэнэ обвел всех взглядом, ища поддержки, но в тоне его сквозила фальшь. Однако через секунду он уже снова сидел, погруженный, судя по всему, в печальные мысли. Мало-помалу его сморил сон.

Погасили свет, немного приоткрыли окно и задернули занавески.

— Постараемся заснуть, ведь нам еще пятнадцать часов ехать. Спокойной ночи,— сказал учитель.

Все, включая сонного Лулу, пожелали друг другу спокойной ночи. Было два часа.

Инженер сидел рядом с девушкой, по другую сторону от нее был Лулу; места напротив занимали учитель, Нэнэ и синьора Миччике. Нэнэ спал беспокойно — видно, на пороге его сна время от времени вырастал фельдфебель, разрезая воздух свистящим хлыстом и позвякивая наручниками. Нэнэ нельзя было назвать красивым ребенком, Лулу, бесспорно, был красивее, но в Нэнэ привлекала его необычность, открывавшая богатый мир чувств, мыслей, взаимоотношений, о котором инженер раньше как-то не задумывался. Ему взгрустнулось: он смотрел на мальчика, впервые постигая истинный смысл существования. Самым важным в жизни, даже в жизни человека технической профессии... нет, не даже, а прежде всего в жизни человека технической профессии было то, что Нэнэ — четыре года, а ему — тридцать восемь. «Невозможно верить в технику, не веря в жизнь: если люди выводят на орбиту космические корабли, они делают это потому, что в мире есть четырехлетние дети, потому, что рождаются и будут рождаться дети. Но у нас, по примеру Соединенных Штатов, начинают смотреть на детей как на проблему, подходя к вопросу об их свободе с

учетом всесторонних педагогических и медицинских исследований.

Это ошибка: дети не проблема. И то общество, которое считает их проблемой, отдаляет их от себя, нарушает преемственность. Лулу и Нэнэ — не проблема для родителей, хотя синьор и синьора Миччике — учителя и при очередной переаттестации должны будут излагать всякие американские и швейцарские теории воспитания.

Кстати, о швейцарцах: в такой стране, как Швейцария, где, казалось бы, навсегда вытравлены семена трагедии и истории, появляется инженер Фабер* Макса Фриша. Греческая трагедия и цюрихский политехникум. Трагедия технократа. И она разыгрывается на древней земле Греции, где смертных все еще подстерегает рок.

Минутку, ты думал о детях, инженер Фабер тут ни при чем.

Нет, при чем, но, чтобы объяснить это, нужна свежая голова, а сейчас тебя клонит ко сну.

Понял: Греция, Сицилия. Может, дело в этом.

Классический лицей! Итак, возьмем Грецию.

Ну конечно, штука в том, что в Швейцарии в каждом ребенке ты видишь будущего швейцарца, а в Греции — личность, человека... И в Сицилии, думаю, тоже, эти двое ребят, например...

В этих краях нет воспитания: нет правил, методики, воспитательных навыков, есть чувства, и они считают — греки, сицилийцы, — что в жизни не существует проблемы, которую не решило бы чувство.

Потому для них и смерть не проблема», — размышлял он, ощущая, как легкие волны сна охватывают сознание.

Он проснулся от духоты. Во сне голова девушки свесилась ему на плечо: девушка спала крепко, неслышно дышала. Инженер подумал о ней с нежностью, неизъяснимо счастливый оттого, что почти касается губами ее волос, что ощущает локтем тяжесть ее груди. Тело его, освобожденное от сна, напряглось.

Все спали, учитель даже храпел. Они были уже в Калабрии:

* Персонаж романа Макса Фриша «Ното Фабер». (Здесь и далее примечания переводчика.)

на остановках, в нахлынувшей внезапно ночной тишине, слышались фразы на диалекте. Вот поезд остановился на берегу моря, звучание прибоя вызвало зрительный образ: набегающие волны, в которых растворяются человеческие фигуры, — в кино это называется наплывом; растроганный инженер таял душой, это было неосознанное чувство гармонии с миром, с природой, с любовью.

Когда поезд тронулся, инженер услышал, как завозился Лулу, а через несколько секунд с изумлением увидел его перед собой. Мальчик смотрел на него с немим удивлением и укором; затем обеими руками он с усилием приподнял голову девушки, лежавшую на плече инженера. «Ревнует, — подумал инженер, — ей-богу, ревнует. Прилип к ней, точно влюбленный, потому всю дорогу и сидел спокойно рядышком».

Девушка проснулась и все поняла.

— Простите, — извинилась она перед инженером и повернулась к Лулу: — Спи, милый, еще ночь. Я встану, и ты сможешь лечь. Так тебе будет удобнее. Спи.

Она уложила его на двух местах, погладила. Лулу молчал: он смотрел на нее обиженно и одновременно умоляюще, быть может не отдавая себе отчета в том, что его мучает. Девушка вышла в коридор.

Прежде чем последовать за ней, инженер подождал, пока Лулу уснет. Она стояла в глубине коридора, все еще заспанная, щекой прижавшись к стеклу. Инженер остановился рядом:

— Уснул, — и, помолчав, прибавил: — А ведь он ревнует.

— Он меня любит, — сказала девушка.

— Он не такой, как Нэнэ. Более замкнутый, тихий... Нэнэ удивительный ребенок.

— Нэнэ ужасный: вы еще не все видели, на что он способен... Бедная Лючия в отчаянии.

— Синьору зовут Лючия? А мне показалось, муж называет ее иначе.

— Он зовет ее Этта, Лючиэтта... Мое имя Жерланда, но меня называют Диной, Жерландиной... У нас Сицилии никого не называют настоящим именем, даже если это очень красивое имя.

— Жерланда красивое имя.
— Неправда. Оно тяжеломерно: напоминает жерло...
— Странно, никогда не слышал этого имени.
— Оно встречается только в провинции Агридженто: святой Жерландо — покровитель города, первый епископ.

— Святой Калоджеро тоже был епископ?

— Нет, святой Калоджеро был отшельником... Их было семь братьев, так легенда говорит, всех семерых звали Калоджеро, один пришел и стал жить недалеко от Низимы. Семь красивых стариков: Калоджеро по-гречески значит «красивый старик». Не думайте, я греческого не знаю. А вы?

— Учил, но не могу сказать, что знаю.

— Мне бы хотелось учить греческий. Но дома говорили, что если девушка едет в лицей, она должна потом и в университет поступать. А как отправить девушку одну в такой город, как Палермо?

— В Сицилии во всех семьях так считают?

— Ой, что вы! Нет, конечно.

— У вас дома особые строгости на этот счет?

— Я бы не сказала, что особые: в Сицилии еще столько людей, которые смотрят на жизнь определенным образом, которые не доверяют...

— Кому?

— Другим, самим себе... И они не так уж неправы... До болезни я была нетерпимее, непримиримее, хотела пройти конкурс и уехать на континент... Теперь я смотрю на вещи несколько иначе: мне кажется, в жизни нет прежних устоев. Каждый способен предать другого, всех подряд... Я говорю не слишком ясно, правда?

— Нет, вы очень хорошо говорите.

— В Риме, в Остии, сидя в кафе, глядя на поток прохожих, я подумала, что каждый из них сам по себе, даже если они беседуют, шутят, идут под руку: они словно движутся за катафалком, когда всякий тешит себя спасительной мыслью: «Я жив, в гробу лежит другой, я не умру», уверенный, что все остальные умрут раньше его, весь мир... Вы когда-нибудь были на похоронах?

— Несколько раз был.

— И я тоже... значит, вы поймете, что я хочу сказать, хоть и говорю сбивчиво: там катафалк, а тут жизнь, радость, но это ничего не меняет...

— То, что вы говорите, глубоко верно.

— Не знаю, может, такие мысли приходят в голову после болезни. А вы не находите, что в жизни нет прежних устоев?

— Где как.

— Да, конечно. Думаю, у нас в поселке устои еще сохранились... А со стороны все выглядит невыносимо убогим... Вы, наверно, считаете, что я тоже убогая, допотопная... вот и одета так...

— Ничего подобного,— возразил инженер,— я вовсе так не считаю.

— Я люблю жизнь, люблю красивые вещи, нарядные платья... и я бы с удовольствием красила губы, научилась курить.

— Вы самая очаровательная девушка, какую я когда-либо знал,— даже в этом платье в честь святого Калоджера и с не-накрашенными губами.

Она опустила глаза и принялась водить указательным пальцем по стеклу, словно что-то писала.

— Вы что-то пишете?— спросил инженер.

— Как?— не поняла девушка.

— Мне показалось, вы что-то пишете на стекле.

— Ах да, я писала свое имя. Это от смущения.

— Вас несколько не должно смущать, если я говорю, что вы красивая девушка и приятная собеседница, потому что это правда.

Она вздохнула и стиснула руки, словно запрещая им писать на стекле имя.

— Может быть, неразумно продолжать дорожное знакомство после того, как мы приедем, но я хочу сказать, что с удовольствием увидел бы вас еще.

Занавески раздвинулись, и в коридор высунулась голова синьора Миччике, напоминавшая отрубленную голову Крестителя, только у того лицо было в крови, а у учителя — сонное и недоверчивое.

— Вы почему это ушли из купе?— спросил он довольно сердито.

— Я тоже,— просто, без тени кокетства сказала инженеру девушка и направилась в купе, чтобы успокоить мнительного учителя.

Поезд подходил к Паоле, и, едва утих скрежет тормозов, раздались крики: «Клубника! Клубника! Клубника!»— которых господин Миччике ждал, держа наготове шестьсот лир: по стакану ягод каждому, включая инженера.

Проснувшись, еще с закрытыми глазами, дети потянулись за ягодами.

— Далась тебе эта клубника!— расстроилась синьора Миччике.— Ты их разбудил.

— Это не я, их разбудили крики торговцев,— оправдывался муж.

— Ты вскочил, когда еще никто не кричал.

— Я встал,— пробовал объяснить учитель,— потому что...

Он умолк, смутившись, и незаметно показал глазами на девушку и инженера. Но, вместо того чтобы разделить опасения бдительного супруга, синьора Миччике обрадовалась: в ней пробудилось призвание каждой замужней женщины устраивать браки незамужних женщин, чему способствовали и романтические обстоятельства — поезд, инженер с континента, хорошая девушка из провинции.

Не съев еще и половины своей порции, Нэнэ объявил:

— Хочу еще клубники.

— Я тебе отдам свою, мне не хочется,— сказала мать.

— И это называется воспитанный ребенок?— спросил учитель, обращаясь ко всем.

— Да он и свои ягоды не осилит, он вроде тебя — говорит, потому что у него рот есть.— Она намекала на недавнюю бестактность мужа в отношении девушки и инженера.

— Я съем мою порцию, и твою, и еще десять, и еще сто стаканов клубники,— заявил Нэнэ.

— Я съем сто стаканов клубники!— передразнил Лулу.

— Двести, тысячу!— разозлился Нэнэ. Однако он ел уже

через силу и спустя секунду протянул стакан матери:— Это на потом.

— Уф!— издевательски вздохнул Лулу.

— Заткнись, пока цел,— предупредил Нэнэ.

— Он не потому говорит, что у него рот есть, а потому, что он грубиян...— поддел жену синьор Миччике.— Но ты у меня допляшешься, в приют отдам, будешь знать.

— Это где сироты?— со знанием дела осведомился Нэнэ.

— Совершенно верно. Где сироты.

— Если ты не умрешь, меня не возьмут. Сначала умри, и тогда я поеду к сиротам.

Синьор Миччике суеверно замахал руками:

— Типун тебе на язык!— Застраховав таким образом себя от смерти, он с неизменной гордостью обратился к инженеру:— Слышите, какая логика?— а сыну заметил:— Ошибаешься, тебя возьмут и при живом отце, достаточно мне замолвить словечко падре Ферраро.— И, справедливо предвидя реакцию Нэнэ, он вскочил на ноги и, устрояюще наклонившись над ним, предупредил:— Только попробуй о падре Ферраро вслух сказать то, что у тебя вертится на языке! Так всыплю, что сто лет помнить будешь.

— А я не вслух, я про себя,— не моргнув глазом ответил Нэнэ.

Учитель нервно провел несколько раз рукой по лицу и засмеялся. Засмеялись и остальные. В это время в дверях появился контролер и попросил предъявить билеты, учитель справился, не опаздывает ли поезд. Едва контролер ушел, Нэнэ сообщил:

— А я еще думаю про падре Ферраро.

— Господи!— простонала синьора Миччике, меж тем как ее муж, инженер и девушка хохотали до слез.

Подъехали к Вилле Сан-Джованни, обсудив на все лады бойкость Нэнэ и раза два разняв сцепившихся в драке братьев, в память о миротворческой деятельности рубашки учителя и инженера были разукрашены клубничными пятнами.

Возбужденный учитель предложил всем подняться на палубу парома выпить кофе.

— А чемоданы?— спросила жена.

— Верно, чемоданы...— огорчился учитель. И с особым пристрастием к самоуничижению, присущим всем сицилийцам, объяснил инженеру, что, когда подъезжаешь к Сицилии, необходимо держаться доброго правила никогда не оставлять вещи без присмотра, не то что на севере, где, по его представлению, чемоданы, как собаки, признают исключительно своих законных хозяев.

Синьора Миччике, у которой были собственные планы, нашла выход из положения: первыми пойдут Дина и инженер, пусть спокойно, без всякой спешки выпьют кофе, а потом, когда они вернутся, пойдет она с мужем и мальчиками.

Возражения детей, которым не терпелось взобраться на палубу, были категорически пресечены. Учителя, правда, раздирали сомнения: с одной стороны, он помнил об ответственности перед братом девушки, с другой — ему было приятно, что и от него зависит намечающаяся идиллия. Однако решимость жены опрокинула все его сомнения.

Так они оказались вдвоем — девушка и инженер — над Мессинским проливом, сиявшим первыми лучами солнца. Они быстро выпили кофе и молча сели лицом к Мессине, ясной, отражавшей сверкающий свет.

После бессонной ночи их мысли словно ослепило яркое утро над морем. Когда паром тронулся, девушка сказала:

— Пойдемте, детям, наверно, не терпится выйти на палубу.

Она была права: Лулу ныл от нетерпения, а Нэнэ, выражая молчаливый протест, лежал на полу.

Синьор Миччике показал на него девушке и инженеру:

— Полюбуйтесь на это посмешище. Чем не свинья?— Но Нэнэ уже выскочил из купе, а следом за ним — Лулу и мать.

Учитель был в коридоре, когда его кольнула мысль, что он оставляет девушку наедине с мужчиной в почти пустом вагоне; он вернулся и, дабы избавиться если не от беспокойства, то от угрызений совести, спросил девушку, не хочет ли она с ними за компанию вернуться наверх. Девушка отказалась, объяснив, что устала.

— Учитель нам не доверяет,— смекнул инженер.

— Он хочет доставить меня домой в целости и сохранности,— улыбнулась девушка.

— Надеюсь, ему это не удастся,— сказал инженер,— надеюсь, вы...— Он не находил слов.

— Да,— краснея, подтвердила девушка.

Больше они ничего не сказали. Застав их молчащими, синьор Миччике не знал, что и подумать: то ли инженер оказался настолько порядочным человеком, что даже не позволил себе говорить с девушкой в его отсутствие, то ли, напротив, столь непорядочным, что попытался действовать, но получил от ворот поворот. Учителю помогла жена: по ее глазам, по опущенным ресницам он понял, что идиллия продолжается с соблюдением всех приличий,— достаточно посмотреть на их лица.

Синьор Миччике успокоился, однако, если, как считала жена, идиллия продолжалась, он полагал, что пришло время выяснить, с кем они имеют дело. Ну хорошо, он инженер, неженатый — во всяком случае выдает себя за холостяка; на вид лет тридцать пять; приятной наружности; характер, кажется, неплохой... Но необходимы были исчерпывающие сведения. И он приступил:

— Судя по выговору, вы из-под Венеции. Я угадал?— Дело в том, что синьор Миччике был в Маростике на офицерских курсах.

— Из Виченцы,— ответил инженер.

— Красивый город, культурный,— сказал учитель.

— Виченца, Винченца, Винченцина — тетя Винченцина,— продекламировал Лулу.

— Бисквит тети Винченцины,— подхватил Нэнэ, слизывая с пальцев следы шоколадки.

— И живете в Виченце?— продолжал дознание учитель.

— Я бы сказал, формально. Мне редко удается вырваться туда. У меня там мать, братья... Я долго жил за границей — в Америке, в Персии. А теперь — Сицилия, Джела.

— Нефть?

— Нефть.

— АНИК?*

— АНИК.

— В таком случае откройте мне по секрету: есть в Джеле нефть или нет?— спросил синьор Миччике, понижая голос до шепота.

— Конечно, есть.

— Понимаете, ходят слухи, будто все это — как бы сказать?— «утка», будто нефти так мало, что игра не стоит свеч.

— Глупости!

— Вот и я то же самое говорю. Но иногда — знаете, как бывает?— начинаешь подозревать, что этот ваш Маттеи* пускает пыль в глаза.. Только поймите меня правильно: что он гений, никто не спорит... Даже если Джела — афера, чтобы обставить такую аферу, нужно быть гением.

— Эта не афера,— заверил инженер.

— Ну раз это говорите вы...— И синьор Миччике поднял руки, показывая, что сдается. Оставя АНИК в покое, он вернулся к более актуальной теме — непосредственно к инженеру Бьянки:— А в Джеле вы долго пробудете?

— Думаю, что да, может, не столько в Джеле, сколько вообще в Сицилии... В Тронне, в Гальяно...

— Нравится вам Сицилия?

— Думаю, очень понравится. Я никогда там не был,— сказал инженер, глядя на девушку.

— Вы слышите?— спросил учитель, обращаясь к жене и к девушке.— Человек объездил полмира и не знает Сицилии! Господи, ну и народ, эти итальянцы с континента!

— Мне давно хотелось побывать в Сицилии,— смутился инженер.

— Конечно, конечно, «в краю, где среди бархатной листвы сверкают золотые апельсины»,— насмешливо, с горечью процитировал учитель.

* АНИК (Azienda Nazionale Idrogenazione Carburanti — итал.) — Национальная компания по добыче горючих ископаемых.

** Маттеи Энрико — президент АНИК, погиб при загадочных обстоятельствах в 1962 году.

— Так всегда бывает,— подала голос синьора Миччике, вступаясь за инженера и успокаивая расстроенного мужа.— Много лет собираешься куда-то съездить, да все откладываешь, вот и получается, что в места, которые больше всего хочется посмотреть, как раз и не попадаешь или попадаешь случайно... Взять хотя бы нас: мы до сих пор не были в Пьяцца Армерина, а ведь со дня свадьбы муж говорит, что нужно обязательно туда поехать.

— Верно,— согласился муж,— так оно всегда и бывает. Но когда я слышу, что человек в возрасте инженера... Простите, сколько вам лет?..— Он не упустил из внимания задачу вывести как можно больше о спутнике.

— Тридцать восемь.

— ...что человек в тридцать восемь лет не знает Сицилии, волей-неволей зло берет... Потому что — не обижайтесь, я говорю вообще,— не зная, не понимая с высоты своего бума или как это там называется, своего экономического чуда, из бедной Сицилии делают отбивную котлету... а раз так, то вот что я скажу: к черту бум, этот ваш бум боком нам выходит, вы нас жарите на нашем же масле... Ради бога, оставим эту тему.

Лулу и Нэнэ затеяли перестрелку из воображаемых автоматов: бум-бум-бум-бум-бум.

— Он был сепаратистом*,— сказала синьора Миччике, объясняя горячность мужа.

— Сторонником независимой Сицилии,— поправил учитель.— Был и остаюсь.

— Теперь у вас есть нефть,— утешил его инженер.

— Нефть?.. Можете мне поверить, ее высосут,— предсказал учитель,— высосут... Помните Муско из «Дон Жуана» Мартольо? Он держал лампаду перед иконой, приближался человек — и масло в лампаде высыхало. «Подойдет с благочестивым видом мужчина или женщина — и высыхает в лампаде масло...» То же самое будет с нефтью: возьмут соломинку длиной от Милана до Джелы и высосут всю нефть... Разумеется,

* В середине сороковых годов в политической жизни Сицилии заметную роль играло движение за отделение ее от Италии.

благочестивые люди, те, что пекутся о Сицилии, болеют за нее душой... Лучше об этом не говорить!

— Но если это происходит или произойдет, вам не кажется, что известная доля вины лежит и на сицилийцах?

— Конечно. Так уж мы устроены: ждем, чтобы плод, когда созреет, упал с ветки прямо нам в рот.

— Тогда, извините, если вы так устроены, я не понимаю, что вам даст самостоятельность.

— Мы так не устроены,— возразила девушка.— Просто мы делаем все для того, чтобы о нас думали как можно хуже, нам это приятно. Мы похожи на людей, которые считают, что у них все болезни, и которым легче, когда они говорят о своих недугах.

— Это верно,— вяло подтвердил учитель. Но тут же оживился, восхищаясь морем возле Таормины:— Какое море! Где еще увидишь такое море?

— Прямо как вино,— сказал Нэнэ.

— Вино?— удивился отец.— Новое дело: он воспринимает краски, будто его не учили их различать. У этого моря, по-вашему, цвет вина?

— Не знаю, но мне кажется, в нем есть красноватый оттенок,— сказала девушка.

— Я слышал или где-то читал: винного цвета море,— сказал инженер.

— Возможно, кто-то из поэтов и написал такое,— допустил учитель,— но я лично море винного цвета никогда не видел.— И объяснил сыну:— Смотри, здесь, внизу, возле скал, море зеленое, а дальше голубое, темно-голубое.

— А по-моему, как вино,— не сдавался Нэнэ.

— Он дальтоник,— заключил отец.

— Какой дальтоник? Упрямый он, вот что,— возразила мать и тоже попыталась убедить сына, что море зеленое и голубое.

— Вино,— сказал Нэнэ.

— Я же говорю, он упрямый,— повторила мать.— Теперь он вообще утверждает, что это вино.

— Минутку.— Синьор Миччике достал с багажной сетки галстук, зеленый в черную полоску, и, показывая сыну, спросил:— Какого цвета у меня галстук?

— Винного,— ответил непреклонный Нэнз; при этом он злорадно улыбался.

Учитель отшвырнул галстук.

— С ним лучше не спорить,— сказала синьора Миччике.— Настоящий упрямый осел.

— И к тому же, возможно, дальтоник,— повторил свою версию муж, правда без прежней уверенности.

«Винного цвета море — где я это слышал?— спрашивал себя инженер.— У моря не цвет вина, учитель прав. Разве что в первых рассветных лучах или на закате, но только не в этот час. И все же мальчик уловил что-то близкое к истине; может быть, это относится к действию такого моря, как здесь. Оно не пьянит, оно завладевает мыслями, придает им древнюю мудрость.

Диалоги Платона должен был бы исполнять Эдуардо Де Филиппо — на неаполитанском диалекте.

Но здесь, пожалуй, другое дело, ведь это Сицилия».

Поезд шел вдоль самого удивительного моря, какое он когда-либо видел; порой наклон вагона создавал ощущение полета в заходящем на посадку самолете: тот же опрокинутый пейзаж за окном, внизу.

— Красиво или нет?— спросил учитель, в чьем обычае было предлагать собеседникам крайние альтернативы: он показывал на берег и море возле Ачи, словно демонстрируя картину, которую только что дописал.

— Прекрасно,— откликнулись все, за исключением Нэнз, сосредоточенно выковыривавшего булавки, какими прикалываются к подголовникам сидений белые чехлы.

— А Низима на море?

— О нет!— с грустью ответил инженеру синьор Миччике.— Это внутренняя Сицилия, сухая... Но будем справедливы, она по-своему красива, не такой красотой, как эта, от которой дух замирает, а красотой, захватывающей тебя постепенно,

в особенности когда ты далеко и тебе ее недостает... Про здешние места легко сказать, что они красивы, любой болван придет в восторг, а у нас, в Низиме, для этого нужно время, голова нужна... Одним словом, совсем другое дело.

— Там есть мафия?— спросил инженер.

— Мафия?— удивился учитель, точно ему задали вопрос, водятся ли у них пингвины.— Какая мафия? Ерунда!

— А это?— Инженер показал ему во вчерашней газете заголовки на четыре колонки «Мафия не хочет плотин».

— Ерунда!— твердо повторил учитель.

Инженер подумал: «Образованный человек, вежливый, солидный, не желает говорить о мафии, более того — удивляется, когда о ней говорят другие, словно этим придают значение пустяку. Дескать, мальчишество, вздор. Теперь я начинаю понимать, что такое мафия, какая это трагедия».

Поезд остановился в Катании.

— Катания,— объявил учитель.— Для нашего поезда это гроб, как пить дать, застрянем. Приехали!

— Я выйду, мне нужно пройтись,— придумал Нэнэ.

— Вагон должны перевести на другой путь, лучше не выходить,— сказал отец.

— Я хочу мороженого, мороженого и печенья,— заявил Нэнэ.

— Я тоже,— присоединился Лулу.— Мороженого и булочку.

Они получили мороженое, печенье и булочку.

— Разве это мороженое?— процедил Нэнэ с отвращением, правда, уже после того как, закапав свой костюмчик, втянул в рот остатки растаявшей массы.— Вот у дна Паскуалино мороженое, это да! Как приедем в Низиму, полный стаканчик возьму.

— У дна Паскуалино хуже,— возразил Лулу неуверенно, лишь бы не согласиться с братом.

— Ничего ты не понимаешь: тут вода, лимонная кислота и сахар, а у дна Паскуалино — лимонный сок, и еще он добавляет белки,— со знанием дела объяснил Нэнэ.

— Ну что за молодец!— порадовалась синьора Миччике.— Всем интересуются, все ему надо знать...

— Это тете Терезине все надо знать, а не мне.

— Так вот кто плохо говорит про тетю Терезину,— торжествующе уличил его отец.

— Это я от тебя научился, это ты говоришь: «Все ей надо знать, старой ведьме».

Синьор Миччике, положенный на обе лопатки, пригрозил ему увесистой затрещиной. Пропустив угрозу мимо ушей, Нэнэ дал справку для девушки и инженера:

— Тетя Терезина богатая, она завещает нам свою землю, но мне на ее землю...

На этот раз он получил затрещину от матери.

— Тетя Терезина завещает землю мне,— сказал Лулу.

— Довольно!— закричал учитель.

— Тетя Терезина лысая, тетя Терезина в парике, тетя Терезина косоглазая...— пропел Нэнэ.

— Бессовестный!— укорила мать.

— Тетя Терезина больше не даст тебе коржиков,— сказал Лулу.

— Нужны мне ее тухлые коржики! Не напоминай, а то меня стошнит,— и он так правдоподобно изобразил рвотное движение, что заработал новую оплеуху.

Чтобы утешить его, девушка предложила ему прогуляться по коридору. Нэнэ согласился:

— Так будет лучше, все равно здесь ничего умного не услышишь.

Но через секунду он влетел в купе один, оглядываясь, как будто за ним гнались, сел на свое место и закрылся развернутой газетой: не держи он ее вверх ногами, можно было бы подумать, что ребенок читает. В дверях купе появился тучный, огромного роста фельдфебель карабинеров, его угрюмая, красная от жары физиономия, залитая потом, выглядела жутко. Нэнэ поверх газеты испуганно косился на фельдфебеля. Карабинер спросил, это ли вагон до Агридженто, поблагодарил и пошел дальше. Нэнэ опустил газету, словно появился из-за кулис, встреченный шуточками Лулу и смехом взрослых. Он заплакал от обиды и ярости, укусил Лулу, принялся кусать

чем они исчезли из виду, девушка оглянулась и посмотрела в его сторону.

«Поеду в Низиму в воскресенье»,— решил инженер.

Но как только автомотриса отошла от станции, его чувства, его грусть и его любовь мгновенно окутал сон. Последним смутным видением его потухающего сознания был тот, кто посоветовал ему этот поезд, этот вагон,— довольное лицо, лицо садиста. «Ну и поездка!»

Содержание

- 5 *Г. Смирнов. Две повести Леонардо Шаши*
- 9 *Палермские убийцы. Перевод З. Потаповой*
82. *Винного цвета море. Перевод Евг. Солоновича*

ЛЕОНАРДО ШАША
ПАЛЕРМСКИЕ УБИЙЦЫ

Ответственный за выпуск
В. Перехватов
Редактор *М. Канторович*
Обложка художника *С. Мухина*
Художественный редактор
Л. Филиппова
Технические редакторы *Н. Толстякова,*
Е. Медведева
Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 714

Сдано в набор 2.03.82. Подписано в печать
28.07.82. Формат 70×100/32. Бумага офсет-
ная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 4,55. Уч.-изд. л. 5,28. Тираж
50 000 экз. Зак. № 254. Цена 65 коп.

Издательство «Известия Советов народных
депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская
пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат
Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 143200,
г. Можайск, ул. Мира, 93



ЛЕОНАРДО ШАША

(родился в 1921 году в Ракальмуто (Сицилия), живет в Палермо. В 1950 году вышла книга писателя "Сказки о диктатуре" — сатира на режим Муссолини. Многие вышедшие затем произведения Леонардо Шаши — "Родственники из Сицилии", 1961; "Сова появляется днем", 1961; "Каждому свое", 1966 и другие

связаны с Сицилией, ее проблемами, людьми, историей. Однако творчество Шаши уже в шестидесятые годы получило широкий резонанс не только в Италии, но и за ее пределами. Книги последнего десятилетия: "Контекст", 1971; "Палермские убийцы", 1975; "Исчезновение Майораны", 1976; "Кандид", 1977; "Дело Моро", 1978; "Черным по черному", 1979; "Сицилия как Метафора", 1979; "Театр памяти", 1981 и другие — по единодушному признанию критики, сделали Леонардо Шашу одним из самых читаемых в мире современных итальянских писателей. На русский язык переводились: "Американская тетушка", "Сова появляется днем", "Каждому свое" и другие.